

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 17

1985



*Габриэль ГАРСИА
МАРКЕС*

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

НЕДОБРЫЙ ЧАС

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 17

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

НЕДОБРЫЙ ЧАС

РОМАН

*Перевод с испанского
Ростислава Рыбкина*

Москва. Издательство «Правда»
1985

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

Габриэль Гарсиа Маркес родился в 1928 году в Колумбии в небольшом городке Аракатака. Закончив университет, стал иностранным корреспондентом столичной колумбийской газеты «Эль Эспектадор», представлял свою газету в Мексике, в европейских странах. В 1955 году выходит повесть Гарсиа Маркеса «Палая листва», в 1958-м — повесть «Полковнику никто не пишет», в 1962-м — роман «Недобрый час» и сборник рассказов «Похороны Великой Мамы», в 1967-м — роман «Сто лет одиночества», с которым к Гарсиа Маркесу приходит мировая известность, в 1976-м — роман «Осень патриарха». За репортажи об Анголе и Кубе Габриэлю Гарсиа Маркесу была присуждена в 1977 году премия Международной организации журналистов. В 1978 году Гарсиа Маркес стал лауреатом Димитровской премии.

Габриэль Гарсиа Маркес прочно связал свое имя с прогрессивными движениями нашей эпохи. Он высоко оценивает опыт строительства социализма на Кубе, выступает за активную борьбу против реакционной хунты, захватившей власть в Чили. Не случайно предлагаемый ниже вниманию читателей роман «Недобрый час», одно из самых разоблачительных произведений писателя, был запрещен в Чили хунтой Пиночета сразу после ее прихода к власти.

НЕДОБРЫЙ ЧАС

I

Падре Анхель величественно приподнялся и сел. Костяшками пальцев потер веки, откинул вязаную москитную сетку и, по-прежнему сидя на голой циновке, задумался ровно на столько времени, сколько нужно, чтобы почувствовать, что ты жив, и вспомнить, какой сегодня день и какие святые на него приходятся. «Вторник, четвертое октября», — и сказал вполголоса:

— Святой Франциск Ассизский.

Не умывшись и не помолившись, падре оделся. Большой, краснощекий, монументальной статью похожий на укрощенного быка, он и двигался, как укрощенный бык, неторопливо и печально. Пройдясь пальцами по пуговицам сутаны с тем же ленивым вниманием, с каким, садясь играть, пробегают пальцами по струнам арфы, он вынул засов и отворил дверь в патио. Туберозы под дождем напомнили ему слова песни.

— «От слез моих разольется море», — произнес он со вздохом.

Спальню соединяла с церковью замощенная неплотно пригнанными каменными плитами крытая галерея, по сторонам которой стояли ящики с цветами. Между плит пробивалась октябрьская трава. Прежде чем направиться в церковь, падре Анхель зашел в уборную, стараясь не вдыхать аммиачный запах, такой сильный, что слезились глаза. Выйдя оттуда в галерею, вспомнил: «Меня унесет в твои грезы». Входя в узкую заднюю дверь церкви, он в последний раз почувствовал аромат тубероз.

В самой церкви пахло затхлостью. Неф был длинный, тоже вымощенный неплотно пригнанными каменными плитами, с выходом на площадь. Падре Анхель пошел прямо в звонницу. Увидев высоко над головой гири часов, подумал, что завода хватит еще на неделю. Его атаковали москиты. Яростно хлопнув себя по затылку, он раздавил одного и вытер руку о веревку колокола. Потом услышал над головой утробный скрежет сложного механизма, а вслед за ним — глухие, глубокие пять ударов, по числу наступивших часов, раздавшиеся как будто у него в животе.

Он подождал, пока затихнет эхо последнего удара, а потом схватил веревку, намотал ее на руку и самозабвенно ударил в треснувшую медь колоколов. Ему исполнился шестьдесят один год. Звонить в колокола каждый день в его возрасте было уже трудно, но все же прихожан на мессу он созывал всегда сам, и усилия, которые для этого требовались, только укрепляли его дух.

Колокола еще звонили, когда Тринидад, сильно толкнув с улицы входную дверь, приоткрыла ее и вошла. Она направилась в угол, где накануне вечером поставила мышеловки. Мертвые мыши, которых она увидела, вызвали в ней одновременно радость и отвращение.

Открыв первую мышеловку, она двумя пальцами взяла мышь за хвост и бросила ее в большую картонную коробку. Падре Анхел отворил входную дверь до конца.

— Добрый день, падре,— поздоровалась Тринидад.

Но его красивый баритон не отозвался. Безлюдная площадь, спящие под дождем миндалевые деревья, весь городок, неподвижный в безрадостном октябрьском рассвете, пробудили в нем ощущение одиночества. Однако, когда уши его привыкли к шуму дождя, ему стал слышен с противоположной стороны площади кларнет Пастора, звучащий чисто, но как-то призрачно. Только после этого ответил он на приветствие и добавил:

— С теми, кто пел серенаду, Пастора не было.

— Не было,— подтвердила Тринидад, наклоняясь к коробке с мертвыми мышами.— Он был с гитаристами.

— Часа два распевали какую-то глупую песенку,— сказал падре.— «От слез моих разольется море» — так, кажется?

— Это новая песня Пастора,— сказала Тринидад.

Падре стоял перед открытой дверью как зачарованный. Уже много лет он слышал игру Пастора, который метрах в полутора от церкви каждый день в пять утра садился упражняться на своем инструменте, прислонив табуретку к подпорке голубятни. Будто у городка был механизм, который работал с неизменной точностью: сначала, в пять утра, бой часов — пять ударов; вслед за ними — звон колокола, зовущего к мессе, и, наконец, кларнет Пастора в патио его дома, очищающий ясными и прозрачными нотами воздух, насыщенный запахом голушиного помета.

— Музыка хорошая,— снова заговорил падре,— а слова глупые. Как ни переставляй, все одно: «От слез моих разольются грезы, меня унесут в твое море».

Он повернулся, улыбаясь собственному остроумию, и пошел зажигать свечи. Тринидад последовала за ним. На ней был белый халат до пят, с длинными рукавами и голубой шелковой лентой — знаком светской конгрегации. Глаза под сросшимися бровями блестили, как два черных уголька.

— Всю ночь ходили где-то поблизости,— сказал падре.

— У дома Марго Рамирес,— рассеянно сказала Тринидад, встраивая коробку с мышами.— Сегодня ночью было кое-что почище серенады.

Падре остановился и устремил на нее взгляд своих безмолвных голубых глаз.

— Что было?

— Листики,— с нервным смешком ответила Тринидад.

Сесару Монтеро, через три дома от церкви, снились слоны. В воскресенье он их видел в кино, но за полчаса до конца сеанса хлынул дождь, и теперь он досматривал картину во сне.

Повернувшись, он всем телом тяжело привалился к стене, и насмерть перепуганные туземки, спасаясь от стада слонов, бросились врассыпную. Жена слегка толкнула его, но ни она, ни он не проснулись. «Мы уходим»,— пробормотал Сесар Монтеро и вернулся в прежнее положение, а потом проснулся — в то самое мгновение, когда второй раз зазвонили к мессе.

Окно и дверь в комнате затягивали проволочные сетки. Окно выходило на площадь и было задернуто гардиной из кретона в желтые цветочки. На ночном столике стояли портативный приемник, настольная лампа и часы со светящимся циферблатом. Напротив, у стены, высился огромный зеркальный шкаф.

Сесар Монтеро услышал кларнет Пастора, когда уже надевал ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи затвердели от грязи, он потянул их с силой, медленно пропуская сквозь сжатую в кулак ладонь, которая была грубее самих шнурков. Потом начал искать шпоры, но под кроватью их не оказалось. Он продолжал одеваться в полутьме, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застегивая рубашку, посмотрел на часы и снова начал искать шпоры под кроватью. Сперва пошарил рукой, а потом стал на четвереньки и заглянул под кровать. Жена проснулась.

— Что ты ищешь?

— Шпоры.

— Висят за шкафом,— сказала она.— Ты их туда повесил еще в субботу.

Она отдернула москитную сетку, зажгла свет, и он со смущенным видом поднялся на ноги. Массивный, с квадратной спиной, он двигался легко, хотя подметки его сапог были тяжелыми и толстыми. Казалось, что в здоровье его есть что-то звериное. Определить возраст Сесара Монтеро было невозможно, однако морщины на шее выдавали, что ему уже за пятьдесят. Он сел на кровать и начал надевать шпоры.

— Все льет и льет,— сказала жена, ощущая своими тонкими, как у подростка, костями впитанную ими за ночь сырость.— Я совсем как губка.

Маленькая, худая, с длинным острым носом, она всегда казалась сонной. Теперь она пыталась разглядеть сквозь гардину дождь. Сесар

Монтеро наконец пристегнул шпоры, встал и несколько раз притопнул ботинками. Звон медных шпор отдался по всему дому.

— В октябре ягуар жиреет,— сказал он.

Но жена не услышала, завороженная звуками кларнета. Когда она снова на него посмотрела, он, широко расставив ноги и наклонив голову, причесывался перед шкафом. Зеркало не вмещало его.

Она напевала негромко мелодию Пастора.

— Бренчали это всю ночь,— сказал он.

— Очень красивая мелодия,— отозвалась жена.

Сняв со спинки кровати ленту, она завязала ею волосы на затылке и, уже совсем проснувшись, сказала со вздохом:

— «И там я останусь до смерти».

Он не обратил на это никакого внимания. Из ящика шкафа, где лежали несколько колец, женские часики и авторучка с вечным пером, он достал бумажник и, вынув четыре банкноты, положил его на место, а потом сунул в карман рубашки шесть ружейных патронов.

— Если дождь не кончится, в субботу не приеду,— сказал он жене.

Сесар Монтеро отворил дверь в патио, остановился на пороге, дыша хмурым запахом октября, и стоял там, пока глаза не привыкли к темноте. Он уже собрался закрыть за собой дверь, когда в спальне зазвонил будильник.

Жена спрыгнула с постели. Он стоял, держась за задвижку, пока она не заставила будильник умолкнуть. Тогда, думая о чем-то своем, он посмотрел на нее в первый раз за все это время.

— Сегодня я видел во сне слонов,— сказал он.

Закрыв за собою дверь, он пошел седлать мула.

Перед третьими колоколами дождь усилился. Порыв ветра, как будто взметнувшийся с земли, сорвал с миндальных деревьев на площади последние сухие листья. Фонари погасли, но двери домов по-прежнему были наглухо закрыты. Сесар Монтеро въехал на муле под навес кухни и, не слезая с седла, крикнул жене, чтобы она принесла плащ. Он стащил с себя двустволку, висевшую у него за спиной, и закрепил ее ремнями перед седлом. Жена принесла плащ.

— Может, подождешь, пока перестанет? — неуверенно спросила она.

Не ответив, он надел плащ и посмотрел в патио, на дождь.

— До декабря не перестанет.

Она проводила его взглядом до конца галереи. Дождь с шумом рушился на ржавые листы крыши, но его это не остановило. Он пришпорил мула, и ему пришлось пригнуться, чтобы, выезжая из патио, не удариться головой о косяк. Дробинки капель с карниза расплущились о его плечи. Не оборачиваясь, он крикнул с порога:

— До субботы!

— До субботы,— отозвалась она.

Единственной открытой дверью на площади была дверь церкви. Сесар Монтеро посмотрел вверх и увидел небо, тяжелое и низкое, в каком-нибудь полуметре над головой. Он перекрестился, снова пришпорил мула и, подняв его на дыбы, заставил покружиться, пока тот наконец не обрел устойчивости на скользкой, как мыло, земле. Тогда-то он и увидел листок, приклеенный к его двери.

Он прочитал его, не слезая с мула. От воды написанное поблекло, но все же слова из выведенных кистью жирных печатных букв прочитать было можно. Поставив мула вплотную к стене, Сесар Монтеро сорвал листок и разорвал его в клочья.

Он хлестнул мула уздечкой и погнал мелкой ровной рысцей, рассчитанной на много часов пути. Выхав с площади, он углубился в узкую кривую улочку, вившуюся между глинобитными домами, двери которых, открываясь, выпускали жар сна. Откуда-то потянуло запахом кофе, и, только когда последние дома городка остались позади, он повернул мула и все той же мелкой и ровной рысцей повел его назад, к площади. Он остановил его около дома Пастора. Там он неторопливо слез с седла, отвязал ружье и привязал мула к подпорке стены.

Засова на двери не было, одна толстая большая пружина. Сесар Монтеро вошел в маленькую полутемную гостиную и услышал высокую ноту, за которой последовало напряженное безмолвие. Прошел мимо окруженного четырьмя стульями небольшого стола; на шерстяной скатерти стояла ваза с искусственными цветами. Наконец, остановившись перед дверью, которая выходила в патио, он откинул с головы капюшон плаща и спокойно, почти дружелюбно позвал:

— Пастор!

В дверном проеме появился Пастор, отвинчивавший мундштук кларнета, худощавый юноша с пушком на верхней губе — он уже подрезал пушок ножницами. Увидев Сесара Монтеро — как тот стоит, упершись каблуками в земляной пол, с ружьем, нацеленным прямо в него, — Пастор открыл рот, но ничего не сказал, только побледнел и улыбнулся. Сесар Монтеро еще тверже уперся ногами в землю, плотно прижал приклад к бедру, а потом, стиснув зубы, нажал на спусковой крючок. От выстрела вздрогнул дом, но Сесар Монтеро не мог сказать, до или после сотрясения он увидел, как по ту сторону двери Пастор извивается, словно червяк, на земле, усыпанной окровавленными перышками.

Алькальд как раз начинал засыпать, и тут вдруг прогремел выстрел. Терзаемый зубной болью, он провел без сна уже три ночи. Утром, когда зазвонили к мессе, он принял восьмую таблетку. После этого боль стихла. Монотонный стук дождевых капель по цинковой крыше помог заснуть, однако и во сне он чувствовал: зуб хотя и не болит, но все же пульсирует. Выстрел разбудил алькальда, и он сразу схватился за пояс с патронташами и револьвером, который всегда

клат на стул слева от гамака, чтобы в любой момент можно было дотянуться. Не слыша ничего, кроме шума дождя, он подумал, что выстрел ему приснился, и в этот момент зуб заболел снова.

Температура у него была немного повышенная, и когда он посмотрел в зеркало, то увидел, что щека распухла. Он открыл баночку вазелина с ментолом и натер им опухшую щеку, затвердевшую и небритую. Внезапно сквозь дождь до него донеслись издалека голоса. Алькальд вышел на балкон. Из домов выбегали люди, некоторые — полураздетые, и все бежали по направлению к площади. Какой-то мальчик повернул к нему голову и, взметнув руками, прокричал на бегу:

— Сесар Монтеро убил Пастора!

На площади Сесар Монтеро поворачивался с ружьем в руках, уставив дуло в толпу. Алькальд с трудом узнал его и тогда, левой рукой вытащив из кобуры револьвер, двинулся к центру площади. Люди расступались, давая ему дорогу. Из бильярдной выскочил полицейский с винтовкой и прицелился в Сесара Монтеро. Алькальд негромко сказал ему:

— Не стреляй, скотина.

Сунув револьвер в кобуру, он вырвал у полицейского винтовку и, готовый в любой момент выстрелить, продолжал свой путь в середине площади. Люди стали прижиматься к стенам.

— Сесар Монтеро, — крикнул алькальд, — отдай ружье!

Только теперь, обернувшись на голос алькальда, Сесар Монтеро его увидел. Алькальд положил палец на спусковой крючок, но не выстрелил.

— А ты возьми сам! — крикнул ему Сесар Монтеро.

На миг отняв от винтовки правую руку, алькальд вытер ею со лба пот. Он двигался, рассчитывая каждый шаг, палец по-прежнему лежал на спусковом крючке, взгляд был прикован к Сесару Монтеро. Внезапно остановившись, алькальд сказал дружелюбно:

— Брось ружье на землю, Сесар, довольно глупостей!

Сесар Монтеро попятился. Алькальд стоял, замерев, с пальцем на спусковом крючке, пока Сесар Монтеро не выпустил ружья из рук и оно не упало на землю. Тогда только алькальд заметил, что на нем пижамные штаны, что он мокрый от дождя и пота и что зуб не болит.

Двери домов стали открываться. Двое полицейских с винтовками побежали к середине площади, за ними устремилась толпа. Оборачиваясь на бегу и пугая людей дулами винтовок, полицейские кричали:

— Назад!

Ни на кого не глядя, почти не повышая голоса, алькальд приказал:

— Разойдись!

Толпа рассеялась. Не снимая с Сесара Монтеро плаща, алькальд обыскал его. В кармане рубашки он нашел четыре патрона, а в заднем кармане брюк — наваху с рукояткой из рога. В другом

кармане он нашел записную книжку, три ключа на кольца и четыре бумажки по сто песо. Сесар Монтеро развел руки в стороны и с невозмутимым видом позволял себя обыскивать — почти не двигаясь, чтобы облегчить алькальду эту процедуру. Закончив, алькальд поздравил обоих полицейских и передал им Сесара Монтеро вместе с изъятыми у него вещами.

— Отведите на второй этаж, — приказал он. — Вы за него отвечаете.

Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и пошел между ними, не замечая дождя и волнения толпы. Алькальд проводил его задумчивым взглядом, а потом повернулся к толпе, махнул рукой, словно разгоняя кур, и прокричал:

— Всем разойтись!

А потом, отирая рукой пот с лица, пересек площадь и вошел в дом Пастора. Ему пришлось проталкиваться между растерянными, бестолково мечущимися людьми. Мать Пастора лежала, скорчившись, в кресле, окруженная женщинами, которые с беспощадным рвением обмахивали ее веерами. Алькальд потянул одну из них за рукав.

— Не лишайте ее воздуха, — сказал он.

Женщина обернулась:

— Она только собралась к мессе!..

— Все это прекрасно, — сказал алькальд, — но сейчас дайте ей дышать.

Пастор лежал ничком в галерее, около голубятни, на ложе из окровавленных перьев. Сильно пахло голубиным пометом. В тот миг, когда в проеме двери показался алькальд, несколько мужчин как раз пытались поднять тело.

— Разойдись! — крикнул он.

Мужчины опустили тело на перья и, оставив его в том же положении, в каком нашли, молча отступили. Окинув труп взглядом, алькальд перевернул его. Посыпались крохотные перышки, но на животе их налипло много, пропитанных теплой, еще живой кровью. Он счистил их руками. Пряжка ремня была раздроблена, рубашка разорвана. Приподняв рубашку, алькальд увидел внутренности. Кровь из раны уже не шла.

— Из такого ружья только ягуаров убивать, — сказал кто-то.

Алькальд встал и, не отрывая взгляда от трупа, обтер руку в окровавленных перьях о подпорку голубятни, а потом вытер ее о пижамные штаны.

— Не трогайте, — сказал он.

— Так и оставите тут валяться? — спросил один из мужчин.

— Вынос трупа надо оформить по закону, — отозвался алькальд.

В доме запричитали женщины. Сквозь плач и удушающие запахи, казалось, вытеснившие из дома воздух, алькальд пробился наружу. На пороге он столкнулся с падре.

— Убили! — взволнованно воскликнул тот.

— Как барана, — подтвердил алькальд.

Двери домов были открыты. Дождь прекратился, но просветов в свинцовом небе, нависшем над крышами, видно не было. Падре Анхель схватил алькальда за локоть.

— Сесар Монтеро — человек добрый, — сказал он. — В тот миг у него, наверно, помрачилось рассудок.

— Знаю, — нетерпеливо отозвался алькальд. — Не беспокойтесь, падре, ему ничего не грозит. Входите, вы как раз здесь нужны.

Он приказал полицейским, стоявшим у входа, уйти с поста и, круто повернувшись, зашагал прочь. Толпа, до этого державшаяся поодаль, хлынула в дом. Алькальд вошел в бильярдную, где один из полицейских уже ждал его с лейтенантской формой.

Обычно заведение в этот час бывало закрыто, но сегодня еще не пробило семи, а оно уже было переполнено. Сидя за столиками или облокотившись на стойку, посетители пили кофе. Большинство были в пижамах и шлепанцах. Алькальд разделся при всех, вытерся наскоро пижамными штанами и, прислушиваясь к разговорам, стал молча надевать форму. Уходя из бильярдной, он уже знал все подробности случившегося.

— Смотрите у меня! — крикнул он с порога. — Будете наводить панику — всех посажу!

И он зашагал по вымощенной булыжником улице, ни с кем не здороваясь. Алькальд чувствовал, что городок взбудоражен. Он был молод, двигался легко и ловко и каждым гулким шагом напоминал жителям городка о своем существовании.

В семь часов прогудели, отчаливая, баркасы, прибывавшие по реке три раза в неделю за грузом и пассажирами, но сегодня люди не обратили на это никакого внимания. Алькальд прошел по торговому ряду, где сирийцы уже начинали раскладывать на прилавках свои яркие, пестрые товары. Доктор Октавио Хиральдо, врач неопределенного возраста, с блестящими, словно лаком покрытыми кудрями, смотрел из дверей своей приемной, как баркасы уплывают вниз по реке. Он тоже был в пижаме и шлепанцах.

— Доктор, — сказал алькальд, — оденьтесь, придется пойти сделать вскрытие.

Врач удивленно посмотрел на него и, показав два ряда прочных белых зубов, отозвался:

— Значит, теперь будем делать вскрытия? Прогресс.

Алькальд хотел улыбнуться, но распухшая щека сразу же напомнила о себе. Он прижал ко рту руку.

— Что с вами? — спросил врач.

— Проклятый зуб.

Доктор Хиральдо явно был расположен поговорить, но алькальд торопился.

У конца набережной он постучался в дверь дома с чистыми бамбуковыми стенами и кровлей из пальмовых листьев, край которой почти касался воды. Ему открыла женщина с зеленовато-бледной кожей, на последнем месяце беременности, босая. Алькальд молча отстранил ее и вошел в маленькую гостиную, где царил полумрак.

— Судья! — позвал он.

В проеме внутренней двери появился, шаркая деревянными подметками, судья Аркадио. Кроме хлопчатобумажных штанов, сползавших с живота, на нем ничего не было.

— Собирайтесь, надо оформить вынос трупа, — сказал алькальд.

Судья Аркадио удивленно присвистнул:

— С чего это вдруг?

Алькальд прошел за ним в спальню.

— Особый случай, — сказал он, открывая окно, чтобы проветрить комнату. — Лучше сделать все как положено.

Он отер испачканные пылью ладони о выглаженные брюки и без малейшей иронии спросил:

— Вы знаете, как оформляется вынос трупа?

— Конечно, — ответил судья.

Алькальд подошел к окну и оглядел свои руки.

— Вызовите секретаря, придется писать, — продолжал он все так же серьезно и, повернувшись к молодой женщине, показал руки. На ладонях были следы крови.

— Где можно вымыть?

— В фонтане, — сказала она.

Алькальд вышел в патио. Женщина достала из сундука чистое полотенце, завернула в него кусок туалетного мыла и собралась выйти вслед за алькальдом, но тот, отряхивая руки, уже вернулся.

— Я несла вам мыло, — сказала она.

— Ничего, и так сойдет, — ответил алькальд.

Он снова посмотрел на свои руки, взял у нее полотенце и вытер их, задумчиво поглядывая на судью Аркадио.

— Пастор был весь в голубиных перьях, — сказал он.

А потом сел на постель и, медленно прихлебывая из чашки черный кофе, продолжал, пока судья Аркадио оденется. Женщина проводила их до выхода из гостиной.

— Пока не удалите этот зуб, опухоль у вас не спадет, — сказала она алькальду.

Тот, подталкивая судью Аркадио к выходу, обернулся и дотронулся пальцем до ее раздувшегося живота.

— А вот эта опухоль когда спадет?

— Уже скоро, — ответила она ему.

Вечером падре Анхель так и не вышел на обычную прогулку. После похорон он зашел побеседовать в один из домов в нижней части городка и допоздна задержался там. Во время продолжительных дождей у него, как правило, начинала болеть поясница, но на этот раз он чувствовал себя хорошо. Когда он подходил к своему дому, фонари на улицах уже зажглись.

Тринидад поливала в галерее цветы. Падре спросил у нее, где неосвященные облатки, и она сказала, что отнесла их в большой алтарь.

Стоило ему зажечь свет, как его тут же окутало облачко москитов. Падре оставил дверь открытой и, чихая от дыма, окурил комнату инсектицидом. Когда он закончил, с него ручьями лил пот. Сменив черную сутану на залатанную белую, которую носил дома, он пошел помолиться богоматери.

Вернувшись в комнату, он поставил на огонь сковороду, бросил на нее кусок мяса и стал нарезать лук. Потом, когда мясо поджарилось, положил все на тарелку, где лежали еще с обеда кусок вареной маниоки и немного риса, перенес тарелку на стол и сел ужинать.

Ел он все одновременно, отрезая маленькие кусочки и нагребая на них рис. Пережевывал тщательно, не спеша, с плотно закрытым ртом, размалывая все до последней крошки хорошо запломбированными зубами. Когда работал челюстями, клал вилку и нож на край тарелки и медленно обводил комнату пристальным, словно изучающим, взглядом. Прямо напротив стоял шкаф с объемистыми томами церковного архива, в углу — плетеная качалка с высокой спинкой и прикрепленной на уровне головы расшитой подушечкой. За качалкой — ширма, на которой висели распятие и календарь с рекламной эликсира от кашля. За ширмой стояла его кровать.

К концу ужина падре Анхель почувствовал удушье. Он налил полную чашку воды, развернул гуайявовую мармеладку и, глядя на календарь, начал ее есть. Откусывал и запивал водой, не отрывая от календаря взгляда, и наконец рыгнул и вытер рукавом губы. Уже девятнадцать лет ел он так один в своей комнате, со скрупулезной точностью повторяя каждое движение. Одиночество никогда его не смущало.

Когда падре Анхель кончил молиться, Тринидад снова попросила у него денег на мышьяк. Падре отказал ей в третий раз и добавил, что можно обойтись мышеловками.

— Самые маленькие мышшки утаскивают из мышеловок сыр и не попадаются. Лучше сыр отравить, — возразила Тринидад.

Ее слова убедили падре, и он уже собирался ей об этом сказать, но тут тишину церкви нарушил громкоговоритель кинотеатра напротив. Сперва послышался хрип, потом звук иглы, царапающей пластинку, а вслед за этим пронзительно запела труба и началось мамбо.

— Сегодня будет картина? — спросил падре.

Тринидад кивнула.

— А какая, не знаешь?

— «Тарзан и зеленая богиня»,— ответила Тринидад.— Та самая, которую в воскресенье не кончили из-за дождя. Ее можно смотреть всем.

Падре Анхель пошел в звонницу и, делая паузы между ударами, прозвонил в колокол двенадцать раз. Тринидад была изумлена.

— Вы ошиблись, падре! — воскликнула она, всплеснув руками, и по блеску глаз было видно, как велико ее изумление.— Эту картину можно смотреть всем! Вспомните — в воскресенье вы не звонили.

— Но ведь сегодня это было бы бестактно,— сказал падре, вытирая потную шею.

И, отдуваясь, повторил:

— Бестактно.

Тринидад поняла.

— Надо было видеть эти похороны,— сказал падре.— Все мужчины рвались нести гроб.

Отпустив девушку, он затворил дверь, выходящую на безлюдную сейчас площадь, и погасил огни храма. Уже в галерее, на пути в свою комнату, падре хлопнул себя по лбу, вспомнив, что не дал Тринидад денег на мышьяк, но тут же, пройдя всего несколько шагов, снова позабыл об этом.

Он сел за рабочий стол дописать начатое накануне письмо. Расстегнув до пояса сутану, придвинул к себе блокнот, чернильницу и промокательную бумагу; другая рука ощупывала карманы в поисках очков. Потом он вспомнил, что они остались в сутане, в которой он был на похоронах, и поднялся, чтобы их взять. Едва он перечитал написанное накануне и начал новый абзац, как в дверь три раза постучали.

— Войдите.

Это был владелец кинотеатра. Маленький, бледный, прилизанный, он всегда производил впечатление человека, смирившегося со своей судьбой. На нем был белый, без единого пятнышка полотняный костюм и двухцветные полуботинки. Падре Анхель жестом пригласил его сесть в плетеную качалку, но тот вынул из кармана носовой платок, аккуратно развернул его, обмахнул скамью и сел на нее, широко расставив ноги. И только тут падре понял: то, что он принимал за револьвер на поясе у владельца кино, на самом деле карманный фонарик.

— К вашим услугам,— сказал падре Анхель.

— Падре,— придушенно проговорил тот,— простите, что вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня вечером, должно быть, произошла ошибка.

Падре кивнул и приготовился слушать дальше.

— «Тарзана и зеленую богиню» можно смотреть всем,— продолжал владелец кино.— В воскресенье вы сами это признавали.

Падре хотел прервать его, но владелец кино поднял руку, показывая, что он еще не кончил.

— Я не спору, когда запрет оправдан, потому что действительно бывают фильмы аморальные. Но в этом фильме ничего такого нет. Мы даже думали показать его в субботу на детском сеансе.

— Правильно — в списке, который я получаю ежемесячно, никаких замечаний морального порядка нет, — сказал падре Анхель. — Однако показывать фильм сегодня, когда в городке убит человек, было бы неуважением к его памяти. А ведь это тоже аморально.

Владелец кинотеатра уставился на него:

— В прошлом году полицейские убили в кино человека, и когда мертвеца вытащили, сеанс возобновился!

— А теперь будет по-иному, — сказал падре. — Алькальд стал другим.

— Подойдут новые выборы — опять начнутся убийства, — запальчиво возразил владелец кино. — Так уж повелось в этом городке с тех пор, как он существует.

— Увидим, — отозвался падре.

Владелец кинотеатра укоризненно посмотрел на священника, но, когда он, потряхивая рубашку, чтобы освежить грудь, заговорил снова, голос его звучал просительно:

— За год это третья картина, которую можно смотреть всем, — сказал он. — В воскресенье три части не удалось показать из-за дождя, и люди очень хотят узнать, какой конец.

— Колокол уже прозвонил, — сказал падре.

У владельца кинотеатра вырвался вздох отчаяния. Он замолчал, глядя в лицо священнику, уже не в состоянии думать ни о чем, кроме невыносимой духоты.

— Выходит, ничего нельзя сделать?

Падре Анхель едва заметно кивнул. Хлопнув ладонями по коленям, владелец кинотеатра встал.

— Что ж, — сказал он, — ничего не поделаешь.

Сложив платок, он вытер им потную шею и обвел комнату суровым и горьким взглядом.

— Прямо как в преисподней, — сказал он.

Падре проводил его до двери, закрыл ее на засов и сел заканчивать письмо. Перечитав его с самого начала, дописал незаконченный абзац и задумался. Музыка, доносившаяся из громкоговорителей, внезапно оборвалась.

— Доводится до сведения уважаемой публики, — зазвучал из динамика бесстрастный голос, — что сегодняшний вечерний сеанс отменяется, так как администрация кинотеатра хочет вместе со всеми выразить свое соболезнование.

Узнав голос владельца кинотеатра, падре Анхель улыбнулся.

Становилось все жарче. Священник продолжал писать, отрываясь лишь затем, чтобы вытереть пот и перечитать написанное, и испускал целых два листа. Он уже подписывался, когда хлынул дождь. Комнату наполнили испарения влажной земли. Падре Анхель надписал конверт, закрыл чернильницу и хотел было сложить письмо вдвое, но остановился и перечитал последний абзац. После этого, снова открыв чернильницу, он добавил постскрипtum: «Опять дождь. Такая зима и события, о которых я вам рассказывал выше, наводят на мысль, что впереди нас ожидают горькие дни».

II

В пятницу рассвет был сухой и теплый. Судья Аркадио, очень гордившийся тем, что, с тех пор как начал спать с женщинами, всегда любил по три раза за ночь, этим утром в лучший момент оборвал шнурки, на которых держалась москитная сетка, и они с женой, запутавшись в ней, свалились на пол.

— Оставь так, — пробормотала она, — потом поправлю.

Они вынырнули, голые, из клубящегося тумана прозрачной ткани. Судья Аркадио пошел к сундуку и достал чистые трусы. Когда он вернулся, жена, уже одетая, прилаживала москитную сетку. Не взглянув на нее, он прошел мимо и, все еще тяжело дыша, сел с другой стороны кровати обуться. Она подошла, прижалась к его плечу круглым тугим животом и слегка закусила зубами его ухо. Мягко отстранив ее, он сказал:

— Не трогай меня.

Она ответила жизнерадостным смехом и, последовав за ним, ткнула у самой двери указательными пальцами в спину:

— Н-но, ослик!

Подскочив, судья Аркадио оттолкнул ее руки. Она оставила его в покое и снова засмеялась, но внезапно, сделавшись серьезной, воскликнула:

— Боже!

— Что случилось?

— Дверь, оказывается, была настежь! Ой, какой стыд!

И она с хохотом пошла мыться.

Судья Аркадио не стал дожидаться кофе и, ощущая во рту мятную свежесть зубной пасты, вышел на улицу.

Солнце казалось медным. Сирийцы, сидя у дверей своих лавок, созерцали мирную реку. Проходя мимо приемной доктора Хиральдо, судья провел ногтем по металлической сетке двери и крикнул:

— Доктор, какое самое лучшее лекарство от головной боли?

Голос врача ответил:

— Не пить на ночь.

На набережной несколько женщин громко обсуждали содержание нового листка, появившегося этой ночью. Рассвет был ясный, без дождя, и женщины, направляющиеся к пятичасовой мессе, увидели и прочитали листок, и теперь уже о нем знали все. Судья Аркадио не остановился: у него было чувство, будто кто-то, как быка за кольцо в носу, тянет его к бильярдной. Там он попросил холодного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило девять, но заведение было уже переполнено.

— У всего городка головная боль, — сказал судья Аркадио.

Взяв бутылку, он пошел к столику, за которым с растерянным видом сидели перед стаканами пива трое мужчин, и опустил на свободное место.

— Опять? — спросил он.

— Утром нашли еще четыре.

— Про Ракель Контрерас читали все, — сказал один из мужчин.

Судья Аркадио разжевал таблетку и глотнул прямо из бутылки. Первый глоток был неприятен, но потом желудок привык, и вскоре он почувствовал себя вновь родившимся.

— Что же там было написано?

— Гадости, — ответил мужчина. — Что уезжала она в этом году не коронки на зубы ставить, а делать аборт.

— Стоило об этом сообщать! — фыркнул судья Аркадио. — Это и так все знают.

Когда он вышел из бильярдной, от обжигающего солнца заболели глаза, но утреннее недомогание прошло. Он направился прямо в суд. Его секретарь, худощавый старик, занятый оципыванием курицы, изумленно уставился на него поверх очков:

— Что сие означает?

— Надо предпринимать что-то с листками.

Шаркая домашними туфлями, секретарь вышел в патио и через забор передал наполовину оципанную курицу гостиничной поварихе.

Через одиннадцать месяцев после вступления в должность судья Аркадио впервые сел за судейский стол. Деревянный барьер делил запущенную комнату на две части. В передней части, под картиной, изображавшей богиню правосудия с повязкой на глазах и весами в руке, стояла длинная скамья. Во второй половине комнаты стояли два старых письменных стола, один против другого, этажерка с запыленными книгами, и на маленьком столике — пишущая машинка. На стене, над креслом судьи, висело медное распятие, а на противоположной стене заключенная в рамку литография — толстый лысый улыбающийся человек с президентской лентой через плечо, и под ним надпись золотыми буквами: «Мир и Правосудие». Литография была единственным новым предметом в комнате.

Закрыв лицо чуть не до самых глаз носовым платком, секретарь принялся метелкой из перьев сметать пыль со столов.

— Если не закроете нос, будете чихать,— сказал он судье Аркадио.

Совет был оставлен без внимания. Судья Аркадио вытянул ноги и, откинувшись во вращающемся кресле, попробовал пружины сиденья.

— Не разваливается? — спросил он.

Секретарь отрицательно мотнул головой.

— Когда убивали судью Вителу, пружины выскочили, но теперь все отремонтировано.

И, дыша по-прежнему через платок, добавил:

— Алькальд сам велел его починить, когда правительство сменилось и повсюду начали разъезжать ревизоры.

— Алькальд хочет, чтобы суд работал,— отозвался судья.

Выдвинув средний ящик, он достал из него связку ключей и начал открывать один за другим остальные ящики стола. Они были набиты бумагами, и судья Аркадио, бегло листая их, убедился, что там нет ничего заслуживающего внимания. Потом, заперев ящики, он привел в порядок письменные принадлежности: стеклянный прибор с двумя чернильницами, для синих и красных чернил, и две ручки тех же цветов. Чернила давно высохли.

— Вы алькальду пришлишь по душе,— сказал секретарь.

Раскачиваясь в кресле, судья угрюмо наблюдал, как он смахивает пыль с барьера. Секретарь посмотрел на него так, словно хотел навсегда запечатлеть в своей памяти именно таким, каким он видел его в этот миг, при этом освещении; а потом, показывая на него пальцем, сказал:

— Вот как вы сейчас, точь-в-точь, сидел судья Витела, когда его кокнули.

Судья потрогал жилки на висках. Головная боль возвращалась.

— Я сидел вон там,— кивнув на пишущую машинку, продолжал секретарь.

Не прерывая рассказа, он обошел барьер и облокотился на него с наружной стороны, нацелившись ручкой с пером, как винтовкой, в судью Аркадио, словно бандит в сцене ограбления почты в каком-нибудь ковбойском фильме.

— Трое наших полицейских стали вот так,— показал он.— Судья Витела, как увидел их, сразу поднял руки и сказал очень медленно: «Не убивайте меня», но тут же кресло повалилось на одну сторону, а он на другую — насквозь прошили свинцом.

Судья Аркадио сжал голову руками. Ему казалось, что его мозг пульсирует. Секретарь снял наконец с лица платок и повесил метелку за дверью.

— И все почему? Сказал в пьяной компании, что не допустит подтасовки на выборах,— добавил он и растерянно замолчал: судья Аркадио, прижав руки к животу, скрючился над столом.

— Вам плохо?

Судья ответил утвердительно и, рассказав о прошедшей ночи, попросил секретаря принести из бильярдной болеутоляющее и две бутылки пива.

После первой бутылки в душе у судьи Аркадио не осталось и намека на угрызения совести. Голова была совсем ясная.

Секретарь сел перед машинкой.

— Ну а теперь что мы будем делать? — спросил он.

— Ничего, — ответил судья.

— Тогда, если вы разрешите, я пойду к Марии — помогу ошипывать кур.

Судья не разрешил.

— Здесь вершат правосудие, а не кур ошипывают, — сказал он и, сочувственно поглядев на подчиненного, добавил: — Кстати, снимите эти шлепанцы и являйтесь в суд только в ботинках.

С приближением полудня жара усилилась. Когда пробило двенадцать, судья Аркадио осушил уже двенадцать бутылок пива. Он погрузился в воспоминания и с сонной истомой рассказывал теперь о своем прошлом без лишней, о долгих воскресеньях у моря и ненасытных мулатках.

— Вот какая жизнь была! — говорил он, прищелкивая пальцами, несколько ошеломленному секретарю, который молча слушал, одобрительно кивая время от времени. Сначала судье Аркадио казалось, что он выжат как лимон, но, делясь воспоминаниями, он все больше и больше оживлялся.

Когда на башне пробило час, секретарь начал обнаруживать признаки нетерпения.

— Суп остынет, — сказал он.

Судья, однако, не отпустил его.

— В городках вроде нашего редко встретишь по-настоящему интеллигентного человека, — сказал он.

Изнемогающему от жары секретарю осталось только поблагодарить его и усесться поудобней. Пятница тянулась бесконечно. Они сидели и разговаривали под раскаленной крышей суда, в то время как городок варился в котле сиесты.

Уже совсем измученный, секретарь завел разговор о листьях. Судья Аркадио пожал плечами.

— Ты, значит, тоже клюнул на эту ерунду? — спросил он, впервые обращаясь к секретарю на «ты».

У того, обессиленного от голода и жары, не было никакого желания продолжать разговор; однако он не выдержал и сказал, что, по его мнению, листки вовсе не ерунда.

— Уже есть один убитый, — напомнил он. — Если так будет продолжаться дальше, настанут дурные времена.

И он рассказал историю городка, уничтоженного такими листьями за семь дней. Жители перебили друг друга, а немногие оставшиеся

в живых, прежде чем уйти из него, вырыли кости своих предков — они хотели быть уверенными, что больше никогда туда не вернуться.

Медленно расстегивая рубашку, судья с насмешливой миной выслушал его рассказ и подумал, что секретарь, должно быть, увлекается романами ужасов.

— Все это смахивает на примитивный детектив, — сказал он.

Секретарь отрицательно покачал головой. Тогда судья Аркадио рассказал ему, что в университете состоял в кружке, члены которого занимались разгадыванием детективных загадок. Каждый из них по очереди прочитывал какой-нибудь детективный роман до места, где уже пора наступить развязке, и потом, собравшись вместе в субботу, они разгадывали загадку.

— Не было случая, чтобы мне это не удалось, — закончил судья Аркадио. — Помогало, конечно, то, что я хорошо знал классиков: ведь это они открыли логику жизни, а она — ключ к разгадке любых тайн.

И он предложил секретарю решить детективную задачу: в двенадцать часов ночи в гостиницу приходит человек и снимает номер, а на следующее утро горничная приносит ему кофе и видит его на постели мертвым и уже разложившимся. Вскрытие показывает, что постоялец, прибывший ночью, восемь дней как мертв.

Громко хрустнув суставами, секретарь встал.

— Что означает: человек прибыл в гостиницу, будучи уже семь дней мертвым, — резюмировал он.

— Рассказ был написан двенадцать лет назад, — сказал судья Аркадио, не обратив внимания на то, что его перебили, — но ключ к разгадке дал Гераклит еще за пять столетий до рождества Христова.

Он хотел рассказать, что это за ключ, но секретарь уже не скрывал раздражения.

— С тех пор как существует мир, никому еще не удавалось узнать, кто вывешивает листки, — враждебно и напряженно заявил он.

Судья Аркадио посмотрел на него блуждающим взглядом.

— Поспорим, что я узнаю? — сказал он.

— Поспорим.

В доме напротив задыхалась в душной спальне Ребека Асис. Она лежала, потонув головой в подушке, и тщетно пыталась заснуть на время сестры. К ее вискам были приложены охлаждающие листья.

— Роберто, — сказала она, обращаясь к мужу, — если ты не откроешь окно, мы умрем от духоты.

Роберто Асис открыл окно в тот миг, когда судья Аркадио выходил из суда.

— Попытайся уснуть, — просительно сказал Роберто Асис роскошной женщине, которая лежала, раскинув руки, почти голая в легкой нейлоновой рубашке, под розовым кружевным балдахином. — Обещаю тебе, что ни о чем больше не вспомню.

Она вздохнула.

Роберто Асис, который страдал бессонницей и провел эту ночь, меряя шагами спальни, прикуривая одну сигарету от другой, чуть было не поймал на рассвете автора листовок с грязными инсинуациями. Он услышал, как около дома зашелестели бумагой, а потом стали разглаживать что-то на стене, но сообразил слишком поздно, и листок успели приклеить. Когда он распахнул окно, на площади уже никого не было.

С этого момента до двух часов дня, когда он обещал Ребеке, что больше не вспомнит о листке, она, пытаясь его успокоить, пустила в ход все известные ей способы убеждения, и под конец, уже в отчаянии, предложила: чтобы доказать свою невиновность, она исповедуется падре Анхелю в присутствии мужа. Это предложение, столь унижительное для нее, себя оправдало: несмотря на обуревавший его слепой гнев, Роберто Асис не посмел сделать решительный шаг и вынужден был капитулировать.

— Всегда лучше высказать все прямо, — не открывая глаз, сказала она. — Было бы ужасно, если бы ты затаил на меня обиду.

Он вышел и закрыл за собою дверь. В просторном полутемном доме Роберто Асис слышал жужжание электрического вентилятора, который включила на время сиесты его мать, жившая в доме рядом.

Под сонным взглядом чернокожей кухарки он налил себе стакан лимонада из бутылки, стоявшей в холодильнике. Женщина, окруженная, словно ореолом, какой-то особой, свойственной только ей освежающей прохладой, спросила, не хочет ли он обедать. Он приподнял крышку кастрюли: в кипящей воде лапами вверх плавала черепаха. Впервые в нем не вызвала дрожи мысль, что ее бросили туда живую и что, когда черепаху, сваренную, подадут на стол, сердце ее еще будет биться.

— Я не хочу есть, — сказал он, закрывая кастрюлю. И, уже выходя, добавил: — Сеньора тоже не будет обедать — у нее с утра болит голова.

Оба дома соединялись выложенной зелеными плитками галереей, из которой обозревались общее патио двух домов и огороженный проволокой курятник. В той половине галереи, которая была ближе к дому матери, в ящиках росли яркие цветы, а к карнизу были подвешены птичьи клетки.

С шезлонга его жалобно окликнула семилетняя дочь. На ее щеке отпечатался рисунок холста.

— Уже почти три, — негромко сказал он. И меланхолично добавил: — Просыпайся скорее.

— Мне приснился стеклянный кот, — сказала девочка.

Он невольно вздрогнул.

— Какой?

— Весь из стекла, — ответила дочь, стараясь изобразить в воздухе

руками увиденное во сне животное.— Как стеклянная птица, но только кот.

Хотя был день и ярко светило солнце, ему показалось вдруг, будто он заблудился в каком-то незнакомом городе.

— Не думай об этом,— пробурчал он,— этот сон пустой.

Тут он увидел в дверях спальни свою мать и почувствовал, что спасен.

— Ты выглядишь лучше,— сказал он ей.

— Лучше день ото дня, да только для свалки,— ответила она с горькой гримасой, собирая в узел пышные стального цвета волосы. Она вышла в галерею и стала менять воду в клетках. Роберто Асис повалился в шезлонг, в котором до этого спала его дочь. Откинувшись назад и заложив руки за голову, он не отрывал взгляда потухших глаз от костлявой женщины в черном, вполголоса разговаривавшей с птицами. Птицы, весело барахтаясь в свежей воде, осыпали брызгами ее лицо. Когда она все кончила и повернулась к нему, Роберто почувствовал неуверенность в себе, которую она всегда вызывала в людях.

— Я думала, ты в горах.

— Не поехал, были дела.

— Теперь не сможешь поехать до понедельника.

По выражению его глаз было видно, что он с нею согласен. Через гостиную прошла вместе с девочкой черная босая служанка — она вела ее в школу.

Вдова Асис, стоя в галерее, проводила их взглядом, а потом снова повернулась к сыну.

— Опять? — озабоченно спросила она.

— Да, только теперь другое,— ответил Роберто.

Он последовал за матерью в ее просторную спальню, где жужжал электрический вентилятор. С видом крайнего изнеможения она рухнула в стоявшую перед вентилятором ветхую качалку с плетением из лиан. На выбеленных известкой стенах висели старые фотографии детей в медных резных рамках. Роберто Асис вытянулся на пышной, почти королевской постели, на которой некоторые из этих детей, включая — в прошлом декабре — и собственного его отца, уже умерли, состарившиеся и грустные.

— Что же? — спросила вдова.

— Ты веришь тому, что говорят люди? — ответил он ей вопросом на вопрос.

— В моем возрасте следует верить всему,— сказала вдова. И безразлично спросила. — Так что же такое они говорят?

— Что Ребека Исабель не моя дочь.

— У нее нос Асисов,— сказала она.

А потом, подумав о чем-то, рассеянно спросила:

— Кто говорит это?

Роберто Асис грыз ногти.

— Листок наклеили.

Только теперь вдова поняла, что темные круги под глазами у ее сына не от бессонницы.

— Листики не живые люди, — назидательно сказала она.

— Но пишется в них только то, о чем уже говорят, — возразил Роберто, — даже если сам ты этого еще не знаешь.

Она, однако, знала все, что в течение многих лет говорили жители городка об их семье. В доме, полном служанок, приемных дочерей и приживалок всех возрастов, от слухов было невозможно спрятаться даже в спальне. Неугомонные Асисы, основавшие городок еще в те времена, когда сами были всего лишь свинопасами, как магнит притягивали к себе сплетни.

— Не все, что говорят люди, правда, — сказала она, — даже если ты знаешь, о чем они говорят.

— Все знают, что Росарио Монтеро спала с Пастором, — сказал он. — Его последняя песня была посвящена ей.

— Все это говорили, но определенно никто не знал, — возразила вдова. — А теперь стало известно, что песня была посвящена Марго Рамирес. Они собирались пожениться, но никто не знал об этом, кроме них двоих и его матери. Лучше бы они не охраняли так свою тайну — единственную, которую в нашем городке удалось сохранить.

Роберто Асис посмотрел на мать горячим, трагическим взглядом.

— Утром была минута, когда мне казалось, что я вот-вот умру.

На вдову это не произвело никакого впечатления.

— Все Асисы ревнивы, — отозвалась она. — Это самое большое несчастье нашего дома.

Они замолчали. Было почти четыре часа, и жара уже спала. Когда Роберто Асис выключил вентилятор, весь дом уже проснулся и наполнился женскими и птичьими голосами.

— Подай мне флакончик с ночного столика, — попросила мать.

Она достала из него две круглые сероватые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и вернула флакон сыну.

— Прими и ты, — сказала она, — они помогут тебе заснуть.

Он тоже достал две, залил их водой, которую оставила в стакане мать, и снова опустил залпов на подушку.

Вдова вздохнула и опять умолкла в раздумье, а потом, перенося, как обычно, на весь городок то, что она думала о полудожине семей их круга, сказала:

— Беда нашего городка в том, что, пока мужчины в горах, женщины остаются дома одни.

Роберто Асис уже засыпал. Глядя на небритый подбородок, на длинный, резко очерченный нос, вдова вспомнила покойного мужа. Адальберто Асису тоже привелось узнать, что такое отчаянье. Он был огромный горец, который лишь один раз в жизни надел на пятнадцать

минут целлулоидный воротничок, чтобы позировать для дагерротипа, стоявшего теперь на ночном столике. О нем говорили, что в этой же самой спальне он застал со своей женой мужчину, убил его и зарыл труп у себя в патио. На самом деле было совсем другое: Адальберто Асис застрелил из ружья обезьянку, которая сидела на балке под потолком спальни и смотрела, как переодевается его жена. Он умер сорока годами позже, так и не сумев опровергнуть сложенную о нем легенду.

Падре Анхель поднялся по крутой лестнице с редкими ступенями. На втором этаже, в конце коридора, на стене которого висели винтовки и патронташи, лежал на раскладушке полицейский и читал. Чтение захватило его, и он заметил падре только после того, как тот с ним поздоровался. Свернув журнал в трубку, полицейский приподнялся и сел.

— Что читаете? — спросил падре Анхель.

Полицейский показал ему заглавие:

— «Терри и пираты».

Падре обвел внимательным взглядом три бетонированные камеры без окон с толстыми стальными решетками вместо дверей. В средней камере спал в одних трусах, раскинувшись в гамаке, второй полицейский; две другие камеры пустовали. Падре Анхель спросил про Сесара Монтеро.

— Он здесь. — Полицейский мотнул головой в сторону закрытой двери. — В комнате начальника.

— Могу я с ним поговорить?

— Он изолирован, — сказал полицейский.

Настаивать падре Анхель не стал, а спросил только, как чувствует себя заключенный. Полицейский ответил, что Сесару Монтеро отвели лучшую комнату участка, с хорошим освещением и водопроводом, но уже сутки как он ничего не ест. Он даже не притронулся к пище, которую алькальд заказал для него в гостинице.

— Бойтся, что в ней отравы, — объяснил полицейский.

— Вам надо было договориться, чтобы ему приносили еду из дому, — посоветовал падре.

— Он не хочет, чтобы беспокоили его жену.

— Обо всем этом я поговорю с алькальдом, — пробормотал, словно обращаясь к самому себе, падре и направился в глубину коридора, где помещался кабинет с бронированными стенами.

— Его нет, — сказал полицейский. — Уже два дня сидит дома с зубной болью.

Падре Анхель отправился навестить его. Алькальд лежал, вытянувшись, в гамаке; рядом стоял стул, на котором были кувшин с соленой водой, пакетик болеутоляющих таблеток и пояс с патронташами и револьвером. Опухоль не опала.

Падре Анхель подтащил к гамаку стул.

— Его следует удалить,— сказал он.

Алькальд выплюнул соленую воду в ночной горшок.

— Легко сказать,— простонал он, все еще держа голову над горшком.

Падре Анхель понял его и вполголоса предложил:

— Хотите, поговорю от вашего имени с зубным врачом?

А потом, вдохнув побольше воздуха, набрался смелости и добавил:

— Он отнесется с пониманием.

— Как же! — огрызнулся алькальд.— Разорви его в клочья, он и тогда останется при своем мнении.

Падре Анхель глядел, как он идет к умывальнику. Алькальд открыл кран, подставил распухшую щеку под струю прохладной воды и с выражением блаженства на лице продержал ее так одну или две секунды, а потом разжевал таблетку болеутоляющего и, набрав в ладони воды из-под крана, плеснул себе в рот.

— Серьезно,— снова предложил падре,— я могу с ним поговорить.

Алькальд раздраженно передернул плечами.

— Делайте что хотите, падре.

Он лег на спину в гамак, заложил руки за голову и, закрыв глаза, часто, зло задышал. Боль стала утихать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель сидел рядом и молча на него смотрел.

— Что привело вас в сию обитель? — спросил алькальд.

— Сесар Монтеро,— без обиняков сказал падре.— Этот человек нуждается в исповеди.

— Он изолирован,— сказал алькальд.— Завтра, после первого же допроса, можете его исповедать. В понедельник нужно его отправить.

— Он уже сорок восемь часов...— начал падре.

— А я с этим зубом — две недели,— оборвал его алькальд.

В комнате, где уже начинали жужжать москиты, было темно. Падре Анхель посмотрел в окно и увидел, что над рекой плывет яркое розовое облако.

— А как его кормят?

Алькальд спрыгнул с гамака и закрыл балконную дверь.

— Я свой долг выполнил,— ответил он.— Он не хочет, чтобы беспокоили его жену, и в то же время не ест пищу из гостиницы.

Он стал опрыскивать комнату инсектицидом. Падре поискал в кармане платок, чтобы прикрыть нос, но вместо платка нащупал смятое письмо.

— Ой! — воскликнул он и начал разглаживать его пальцами.

Алькальд прервал опрыскивание. Падре зажал нос, но это не помогло: он чихнул два раза.

— Чихайте, падре,— сказал ему алькальд. И, улыбнувшись, добавил: — У нас демократия.

Падре Анхель тоже улынулся, а потом сказал, показывая запечатанный конверт:

— Забыл отправить.

Он нашел платок в рукаве и, по-прежнему думая о Сесаре Монтеро, выморгал раздраженный инсектицидом нос.

— Как будто его посадили на хлеб и воду,— сказал он.

— Если это ему нравится...— отозвался алькальд.— Мы не можем кормить насильно.

— Меня больше всего заботит его совесть,— сказал падре.

Не отнимая платка от носа, он наблюдал за алькальдом, пока тот не закончил опрыскивание.

— Должно быть, она у него нечиста, раз он боится, что его отравят,— сказал алькальд и поставил баллон на пол.— Он знает, что Пастора любили все.

— Сесара Монтеро тоже,— сказал падре.

— Но мертв все-таки Пастор.

Падре посмотрел на письмо. Небо багровело.

— Пастор,— прошептал он,— не смог даже исповедаться.

Перед тем как снова лечь в гамак, алькальд включил свет.

— Завтра мне станет лучше,— сказал он.— После допроса можете его исповедать. Это вас устраивает?

Падре был согласен.

— Только чтобы успокоить его совесть,— заверил он.

Величественно поднявшись, он посоветовал алькальду не увлекаться болеутоляющими таблетками, а алькальд, со своей стороны, напомнил падре, что тот хотел отправить письмо.

— И, падре,— сказал алькальд,— поговорите, пожалуй, с зубодером.

Он посмотрел на священника, уже спускавшегося по лестнице, и, улыбнувшись, добавил:

— Это тоже будет содействовать установлению мира и спокойствия.

Телеграфист, сидя у дверей своей конторы, смотрел на закат. Когда падре Анхель отдал ему письмо, он вошел в помещение, поспешил языком пятнадцатисентовую марку (авиапочта плюс сбор на строительство) и начал рыться в ящике письменного стола. Когда зажглись уличные фонари, падре положил на деревянный барьер несколько монеток и, не попрощавшись, ушел.

Телеграфист продолжал рыться в ящике. Через минуту ему это надоело, и он написал чернилами на углу конверта: «Марок по пять сентаво нет»,—а ниже поставил свою подпись и штамп почтового отделения.

Вечером, когда кончилась служба, падре Анхель увидел, что в чаше со святой водой плавает мертвая мышь: Тринидад ставила мышеловки на самом краю чаши. Падре схватил утопленницу за кончик хвоста.

— Может произойти несчастье, и повинна в нем будешь ты,— сказал он Тринидад, раскачивая перед ней мертвую мышь.— Разве ты не знаешь, что некоторые верующие набирают святой воды в бутылки и поят ею заболевших родственников?

— Ну и что тут такого? — спросила она.

— Как что такого? — возмущился падре.— Да то, что больные будут пить святую воду с мышьяком!

Тринидад напомнила падре, что денег на мышьяк он ей еще не давал.

— А это от гипса,— показала она на мышь.

И объяснила, что насыпала в углях церкви гипса; мышь поела его и, мучимая невыносимой жаждой, пошла пить. От воды гипс у нее в желудке затвердел.

— Нет уж,— сказал падре,— лучше ты зайди ко мне, и я дам тебе денег на мышьяк. Я не хочу больше находить дохлых мышей в святой воде.

Дома его ожидала депутация из общества дам-католичек, возглавляемая Ребекой Асис. Падре дал Тринидад денег на мышьяк, сказал, что в комнате очень душно, а потом сел за свой рабочий стол, лицом к хранившим молчание дамам.

— К вашим услугам, уважаемые сеньоры.

Они переглянулись. Ребека Асис раскрыла веер с нарисованным на нем японским пейзажем и напрямик сказала:

— Мы по поводу листков, падре.

Выразительно модулируя голосом, словно рассказывая детскую сказку, она описала охватившую городок панику. Ребека Асис сказала: хотя смерть Пастора следует рассматривать как дело сугубо частное, уважаемые семейства городка считают, что не могут игнорировать клеветнические листки.

Опираясь на ручку зонтика, Адальгиса Монтойя, самая старшая из трех, высказалась еще ясней:

— Мы, общество католичек, решили занять в этом вопросе вполне определенную позицию.

На несколько недолгих секунд падре Анхель задумался. Ребека Асис глубоко вздохнула, и падре спросил себя, почему от этой женщины исходит такой жаркий запах. Она была великолепная и цветущая, с ослепительно белой кожей, пыщущая здоровьем и страстью.

Падре заговорил, глядя в пространство:

— Я считаю, что мы не должны обращать внимания на голос пасквилей. Мы должны быть выше грязных речей и продолжать блюсти заповеди господни.

Адальгиса Монтойя выразила кивком одобрение, но две другие дамы не согласились — им казалось, что постигшее городок зло может в конце концов привести к трагическим последствиям.

В этот момент кашлянул громкоговоритель кинотеатра. Падре Анхель хлопнул себя по лбу.

— Извините меня,— сказал он и начал искать в ящике стола присланный католической цензурой список.— Что сегодня показывают?

— «Пираты космоса»,— ответила Ребека Асис.— Про войну.

Падре Анхель начал искать по алфавиту, бормоча себе под нос обрывки названий и водя пальцем по длинному разграфленному списку. Перевернув страницу, прочитал:

— «Пираты космоса»!

Он провел пальцем по строке, отыскивая моральную оценку, и тут вместо ожидаемой пластинки раздался голос владельца кинотеатра, объявивший, что ввиду плохой погоды сеанс отменяется. Одна из женщин объяснила: владелец кинотеатра решил отменить сеанс, потому что зрители требовали, чтобы, в случае если до перерыва пойдет дождь, им вернули назад деньги.

— Жаль,— сказал падре Анхель,— этот фильм можно было смотреть всем.

Он закрыл брошюру и продолжал:

— Как я неоднократно вам говорил, жители нашего городка — люди богобоязненные. Деятнадцать лет тому назад, когда мне верили этот приход, одиннадцать пар из самых почтенных семейств открыто сожительствоваали вне освященного церковью брака. Сейчас осталась всего одна пара, и то, я надеюсь, ненадолго.

— Если бы дело было только в нас,— сказала Ребека Асис,— а то ведь эти бедняки...

— Оснований для беспокойства нет,— продолжал падре, не обращая на нее внимания.— Подумайте, как изменился наш городок! В ту давнюю пору заезжая танцовщица устроила на арене для петушинных боев представление только для мужчин, а под конец — распродажу с аукциона всего, что на ней было.

— Это чистейшая правда,— вставила Адальгиса Монтойя.

Она и в самом деле помнила, как ей рассказывали об этом скандальном происшествии. Когда на танцовщице ничего не осталось, какой-то старик из задних рядов с криком поднялся на верхнюю ступеньку амфитеатра и стал мочиться на зрителей, и все остальные мужчины, следуя его примеру, тоже начали с безумными воплями мочиться друг на друга.

— Ныне,— продолжал падре,— доказано, что жители нашего городка самые богобоязненные люди во всей апостолической префектуре.

Он начал приводить примеры своей трудной борьбы со слабостями и пороками рода человеческого, и в конце концов дамы-католички, изнемогшие от жары, совсем перестали его слушать. Ребека Асис снова развернула веер, и только теперь падре Анхель обнаружил источник ее благоухания. В сонном оцепенении гостинной запах сандалового дерева обрел вес и плоть. Падре достал из рукава платок и прикрыл им нос, чтобы не чихнуть.

— И в то же время,— продолжал он,— наш храм в апостолической префектуре самый запущенный и бедный. Колокола треснули, и церковь полна мышей, потому что все свое время я отдаю насаждению морали и добрых нравов.

Он расстегнул воротник.

— Труд вещественный по силам любому юноше,— сказал он, поднимаясь со своего места.— Но для того чтобы утвердить нравственность, нужны многолетний опыт и неустанные усилия.

Ребека Асис подняла нежную, почти прозрачную руку; обручальное кольцо закрывал перстень с изумрудами.

— Именно поэтому мы и подумали,— заговорила она,— что из-за этих грязных листков могут оказаться напрасными все наши труды.

Единственная из трех дам, пребывавшая до этого в молчании, воспользовалась наступившей паузой, чтобы тоже вставить несколько слов.

— Кроме того, мы считаем,— сказала она,— что сейчас, когда страна оправляется от потрясений, это постигшее нас зло может оказаться помехой.

Падре Анхель достал из шкафа веер и начал медленно им обмахиваться.

— Одно не имеет никакого отношения к другому,— сказал он.— Мы пережили политически трудный момент, но семейная мораль не пострадала ничуть.

Он остановился перед женщинами.

— Через несколько лет я поеду к апостолическому префекту и скажу ему: «Смотрите: я оставляю вам образцовый городок. Теперь вам нужно только послать туда энергичного молодого священника — такого, который построил бы там лучшую в префектуре церковь». — И, чуть заметно поклонившись, воскликнул: — Тогда я смогу спокойно умереть в доме моих предков!

Дамы запротестовали. Общее мнение выразила Адальгиса Монтойя:

— Вы должны считать наш городок своей родиной, падре. И мы хотим, чтобы вы оставались с нами до вашего последнего часа.

— Если речь идет о том, чтобы построить новую церковь,— перебила ее Ребека Асис,— мы можем начать кампанию хоть сейчас.

— Всему свое время,— сказал падре.

А потом уже совсем другим тоном, добавил:

— В любом случае я не хотел бы состариться на глазах у прихода. Не хотел бы, чтобы со мною произошло то же, что со смиренным Антонио Исабелем из церкви Святого Причастия, который уведомил епископа, что в его приходе падает дождь из мертвых птиц. Посланный епископом ревизор нашел священника на площади городка — он играл с детьми в полицейских и разбойников.

Дамы выразили изумление.

— Кто же это такой?
— Священник, занявший мое место в Макондо,— ответил падре Анхель.— Ему было сто лет.

III

Время дождей, беспощадность которого можно было предвидеть уже с последних дней сентября, утвердило себя к концу этой недели во всей своей суровой силе. Алькальд провел воскресенье в гамаке, жуя болеутоляющие таблетки, а в это время река, выйдя из берегов, заливала нижние улицы.

На рассвете в понедельник, когда в первый раз прекратился дождь, городку потребовалось несколько часов, чтобы прийти в себя. Бильярдная и парикмахерская открылись рано, но двери большинства домов отворились только после одиннадцати. Сеньор Кармайкл оказался первым, кого потрясло зрелище людей, перетаскивающих свои дома повыше. Шумные ватаги, вырыв из земли угловые столбы, переносили целиком строения с крышами из пальмовых листьев и стенами из бамбука и глины.

С раскрытым над головой зонтом сеньор Кармайкл остановился под навесом парикмахерской и стал наблюдать, как проходит эта трудная операция. Голос парикмахера вернул его к действительности:

— Подождали бы, пока перестанет лить.

— В ближайшиe два дня не перестанет,— сказал сеньор Кармайкл и закрыл зонтик,— мне говорят это мои суставы.

Люди, которые по колено в грязи перетаскивали дома, задевали ими за стены парикмахерской. Сеньор Кармайкл увидел через окно голую комнату — совершенно лишенную интимности спальню — и его охватило предчувствие беды.

Хотя желудок говорил, что уже скоро двенадцать, ему казалось, что сейчас еще шесть утра. Сириец Мойсес пригласил переждать дождь у него в лавке. Сеньор Кармайкл повторил свое предсказание: в ближайшие двадцать четыре часа дождь не кончится — и заколебался, перепрыгнуть ли ему на тротуар к соседнему дому. Мальчишки, игравшие в войну, бросили ком глины, и он расплющился на стене недалеко от его свежевыглаженных брук. Сириец Элиас выскокил из своей лавки с метлой в руках и, мешая арабские слова с испанскими, осыпал мальчишек цветистой бранью. Мальчишки радостно запрыгали и закричали:

— Турок лупоглазый, турок лупоглазый!

Удостоверившись, что его одежда не пострадала, сеньор Кармайкл закрыл зонтик, вошел в парикмахерскую и уселся в кресло.

— Я всегда говорил, что вы человек умный,— сказал парикмахер, завязывая ему на шею простыню.

Сеньор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды, такой же

неприятный для него, как запах анестезирующих средств в кабинете зубного врача. Парикмахер начал подравнивать волосы на затылке. Скучая от безделья, сеньор Кармайкл стал искать взглядом, что бы ему почитать.

— Газет нет?

Не прерывая работы, парикмахер ответил:

— В стране остались только правительственные газеты, а их, пока я жив, в моем салоне не будет.

Сеньору Кармайклу пришлось заняться созерцанием своих поношенных ботинок. Это продолжалось, пока парикмахер не спросил его о вдове Монтель, — сеньор Кармайкл шел как раз от нее. После смерти дна Хосе Монтеля, у которого он много лет работал бухгалтером, сеньор Кармайкл стал у его вдовы управляющим.

— Все благополучно, — ответил он.

— Мы убиваем друг друга, — сказал парикмахер, словно разговаривая сам с собой, — а у нее одной столько земли, что за пять дней на лошади не объедешь. Хозяйка десяти округов, не меньше.

— Не десяти, а трех, — поправил его сеньор Кармайкл. И убежденно сказал: — Она самая достойная женщина в мире.

Парикмахер, чтобы очистить расческа, перешел к туалетному столику. Сеньор Кармайкл увидел в зеркале его козлиное лицо и снова понял, почему не уважает парикмахера. Тот, глядя на свое отражение в зеркале, между тем говорил:

— Недурно обстряпано: у власти моя партия, моим политическим противникам полиция угрожает расправой, и им никуда не деться — продают мне землю и скот по ценам, которые я же сам и назначаю.

Сеньор Кармайкл наклонил голову. Парикмахер снова принялся стричь.

— Проходят выборы, — продолжал он, — и я уже хозяин трех округов, и у меня нет ни одного конкурента — я на коне, хоть правительство и сменилось. Выгодней, чем печатать фальшивые деньги.

— Хосе Монтель разбогател задолго до того, как начались политические распри, — отозвался сеньор Кармайкл.

— Ну да, сидя в одних трусах у дверей крупорушки. Говорят, он первую пару ботинок надел всего девять лет назад.

— Даже если так, вдова не имела абсолютно никакого отношения к его делам.

— Она только разыгрывает из себя дурочку, — не унимался парикмахер.

Сеньор Кармайкл поднял голову и, чтобы легче было дышать, высвободил шею из простыни.

— Вот почему я предпочитаю, чтобы меня стригла жена, — сказал он. — Не надо платить, и, кроме того, она не говорит о политике.

Парикмахер рукой наклонил его голову вперед и молча продолжал стричь. Временами, давая выход избытку своего мастерства, он лязгал над головой клиента ножницами.

До слуха сеньора Кармайкла донеслись с улицы громкие голоса. Он посмотрел в зеркало; мимо открытой двери проходили дети и женщины с мебелью и разной утварью из перенесенных домов.

— На нас сыплются несчастья, а вы все никак не расстанетесь с политическими дрязгами. Прошло больше года, как прекратились репрессии, а вы только о них и говорите.

— А то, что о нас не думают,— разве это не репрессия?

— Но ведь нас не избивают.

— А бросить нас на произвол судьбы и не думать о нас — разве не то же самое, что избивать?

— Это газетный треп,— сказал, уже не скрывая раздражения, сеньор Кармайкл.

Парикмахер молча взбил в чашечке мыльную пену и стал наносить ее кистью на шею сеньора Кармайкла.

— Уж очень поговорить хочется,— как бы оправдываясь, сказал он.— Не каждый день встретишь беспристрастного человека.

— Станешь беспристрастным, когда надо прокормить одиннадцать ртов.

— Это точно,— подхватил парикмахер.

Он провел бритвой по ладони, и бритва запела. Он стал молча брить затылок сеньора Кармайкла, снимая мыло пальцами, а потом вытирая пальцы о штаны. Под конец, все так же молча, он потер затылок квасцами.

Застегивая воротник, сеньор Кармайкл увидел на задней стене объявление: «Разговаривать о политике воспрещается». Он стянул с плеч оставшиеся на них волосы, повесил на руку зонтик и спросил, показывая на объявление:

— Почему вы его не снимете?

— К вам это не относится,— сказал парикмахер.— Мы с вами знаем: вы человек беспристрастный.

В этот раз сеньор Кармайкл прыгнул через лужу на тротуар не колеблясь. Парикмахер проводил его взглядом до угла, а потом уставился как загипнотизированный на мутную, грозно вздувшуюся реку. Дождь прекратился, но над городком по-прежнему висела неподвижная свинцовая туча.

Около часа в парикмахерскую зашел сириец Мойсес и стал жаловаться, что у него на макушке выпадают волосы, а на затылке растут очень быстро. Сириец приходил стричься каждый понедельник. Обычно он с какой-то обреченностью опускал голову на грудь, и из его горла раздавался храп, похожий на арабскую речь, между тем как парикмахер громко разговаривал сам с собой. Однако в этот понедельник сириец проснулся, вздрогнув, от первого же вопроса:

— Знаете, кто здесь был?

— Кармайкл, — ответил сириец.

— Кармайкл, этот жалкий негр, — словно расшифровывая имя, подтвердил парикмахер. — Терпеть не могу таких людей!

— Людей! Да разве он человек? — запротестовал сириец Мойсес. — Но в политике линия у него правильная: на все закрывает глаза и занимается своей бухгалтерией.

Он уткнулся подбородком в грудь, собираясь захрапеть снова, но брадобрей стал перед ним, скрестив на груди руки, и спросил вызывающе:

— А за кого, интересно, вы, турок дерьмовый?

Сириец невозмутимо ответил:

— За себя.

— Плохо. Вы бы хоть вспомнили про четыре ребра, которые по милости дона Хосе Монтелья сломали сыну вашего Элиаса.

— Грош цена Элиасу, если его сын ударился в политику, — ответил сириец. — Но парень теперь веселится в Бразилии, а дон Хосе Монтелья лежит в могиле.

Прежде чем выйти из своей комнаты, где после долгих мучительных ночей царил полнейший беспорядок, алькальд побрил правую щеку, оставив в неприкосновенности восьмидневную щетину на левой. После этого он надел чистую форму, обулся в лакированные сапоги и, воспользовавшись перерывом в дожде, отправился пообедать в гостиницу.

В ресторане не было ни души. Пройдя между столиками, алькальд занял в самой глубине зала место, лучше других укрытое от посторонних глаз.

— Маска! — позвал он.

Мигом появилась совсем юная девушка в коротком, облегающем каменные груди платье. Алькальд, не глядя на нее, заказал обед. По дороге на кухню девушка включила приемник, стоявший на полке в другом конце зала. Передавали последние известия с цитатами из речи, произнесенной накануне вечером президентом республики, а затем — очередной список запрещенных к вывозу товаров.

По мере того как голос диктора заполнял комнату, жара становилась все сильнее. Когда девушка принесла суп, алькальд обмахивался фуражкой.

— Я тоже потею от радио, — сказала девушка.

Алькальд начал есть. Он всегда считал, что эта уединенная гостиница, существующая на доходы от случайных приезжих, отличается от всего городка. И действительно, она существовала еще до его основания. Скупщики, приезжавшие из центральной части страны за урожаем риса, проводили ночи за игрой в карты на ветхом деревянном балконе, дожидаясь, когда утренняя прохлада позволит

им заснуть. Сам полковник Аурелиано Буэндия, направляясь в Макондо на переговоры об условиях капитуляции в конце последней гражданской войны, проспал ночь на этом балконе еще в те времена, когда на много лиг вокруг не было ни одного селения. Уже тогда это был тот же самый дом с деревянными стенами и цинковой крышей, с той же столовой и теми же картонными перегородками между комнатами, только без электрического освещения и санитарных удобств. Один старый коммивояжер рассказывал, что в конце прошлого столетия на стене в ресторане висел специально для постояльцев набор масок и гость, надев какую-нибудь из них, шел в патио и справлял там нужду у всех на глазах.

Чтобы покончить с супом, алькальд пришлось расстегнуть воротник. Последние известия кончились, зазвучала пластинка с рекламой в стихах, потом — душещипательное болеро. Умиравший от любви мужчина с невыносимо сладким голосом решил в погоне за женщиной объехать весь свет. Дожидаясь следующих блюд, алькальд стал слушать, но внезапно увидел, как двое детей несут мимо гостиницы кресло-качалку и два стула. За ними две женщины и мужчина несли корыта, кастрюли и другую домашнюю утварь.

Алькальд подошел к двери и крикнул:

— Откуда стащили?

Женщины остановились. Мужчина объяснил, что они перенесли дом на более высокое место. Алькальд спросил, куда именно, и мужчина показал своим сомбреро на юг.

— Вон туда. Эту землю нам сдал за тридцать песо дон Сабас.

Алькальд окинул взглядом их скарб. Разваливающаяся качалка, старые кастрюли — вещи бедняков. Он подумал секунду, потом сказал:

— Несите ваше барахло на землю около кладбища.

Мужчина смешался.

— Эта земля муниципальная и не будет стоить вам ни гроша, — объяснил алькальд. — Муниципалитет вам ее дарит. — И добавил, обращаясь к женщинам: — А дону Сабасу передайте от меня: пусть бросит мошеничать.

Обед он закончил безо всякого аппетита, потом закурил сигарету, от окурка прикурил другую и задумался, облокотившись на стол. По радио передавали одно за другим тягучие сентиментальные болеро.

— О чем задумались? — спросила девушка, убирая со стола пустые тарелки.

Алькальд ответил, глядя на нее немигающими глазами:

— Об этих бедняках.

Он надел фуражку и пошел к выходу. В дверях он обернулся.

— Пора сделать этот городок попристойнее.

На углу ему преградили путь сцепившиеся в смертельной схватке псы. Он увидел воющий клубок лап и спин, а потом — оскаленные

зубы; одна из собак поджала хвост и, волоча лапу, заковыляла прочь. Алькальд обошел собак стороной и зашагал по тротуару к полицейскому участку.

В камере кричала женщина, а дежурный полицейский спал после обеда, лежа ничком на раскладушке. Алькальд толкнул раскладушку ногой. Полицейский подскочил спросонья.

— Кто это там? — спросил алькальд.

Полицейский стал по стойке «смирно».

— Женщина, которая наклеивала листки.

Алькальд изверг на своих подчиненных поток брани. Он хотел знать, кто привел женщину и по чьему приказу ее посадили в камеру. Полицейские начали многословно объяснять.

— Когда ее посадили?

Оказалось, что в субботу вечером.

— А вот сейчас она выйдет, а один из вас сядет! — закричал алькальд. — Она спала в камере, а по городку налепили за ночь черт-те сколько листков!

Едва открылась тяжелая железная дверь, как из камеры с криком выскочила средних лет женщина, худая, с собранными в тяжелый узел волосами, которые держал высокий испанский гребень.

— Проваливай, — сказал ей алькальд.

Женщина выдернула гребень, тряхнула несколько раз роскошной гривой и, выкрикивая ругательства, как одержимая бросилась вниз по лестнице.

Перегнувшись через перила, алькальд закричал во весь голос, словно хотел, чтобы его слышали не только женщина и полицейские, но и весь городок:

— И не приставайте ко мне больше с этой писаниной!

Хотя по-прежнему моросил дождь, падре Анхель вышел на свою обычную вечернюю прогулку. До встречи с алькальдом времени оставалось довольно много, и он отправился посмотреть затопленную часть городка. Увидел он только труп кошки, плавающий среди цветов.

Когда падре шел назад, начало подсыхать. Конец дня неожиданно оказался ослепительно ярким. По вязкой, неподвижной реке спускался баркас с залитой мазутом палубой. Из какой-то развалюхи выбежал мальчик и закричал, что у него в ракушке шумит море. Падре Анхель поднес его ракушку к уху — и, правда, шумело море.

Жена судьи Аркадио сидела со сложенными на животе руками перед дверью своего дома и глядела, как зачарованная, на баркас. Через три дома начинался торговый ряд: витрины с барахлом и ничем не прошибаемые сирийцы, сидящие у дверей своих лавок. Вечер умирал в ярко-розовых облаках и в визге попугаев и обезьян на другом берегу реки.

Двери домов начали открываться. Под заляпанными грязью миндальными деревьями, вокруг тележек со снадью, на изъеденном временем гранитном крае водоема, из которого поили скот, теперь собирались поболтать мужчины. Падре Анхель подумал, что каждый вечер в это время словно происходит чудо — городок преобразается.

— Падре, вы помните, как выглядели заключенные немецких концлагерей?

Падре Анхель не видел лица доктора Хиральдо, но представил себе, как тот улыбается за проволочной сеткой окна. Честно говоря, он не помнил тех фотографий, хотя не сомневался, что видел их.

— Загляните в комнату перед приемной.

Падре Анхель толкнул затянутую сеткой дверь. На циновке лежало существо неопределенного пола — кости, обтянутые желтой кожей. Прислонившись спиной к перегородке, сидели двое мужчин и женщина. Хотя никакого запаха падре не ощутил, он подумал, что от этого существа должно исходить невыносимое зловоние.

— Кто это? — спросил он.

— Мой сын, — ответила женщина. И, словно извиняясь, сказала: — Два года у него кровавый понос.

Не поворачивая головы, больной скосил глаза в сторону двери. Падре охватили ужас и жалость.

— И что вы с ним делаете? — спросил он.

— Даем ему зеленые бананы, — ответила женщина. — Ему не нравятся, а ведь они так хорошо крепят.

— Вам следовало бы принести его на исповедь, — сказал падре, но слова его прозвучали как-то неубедительно.

Он тихо закрыл за собой дверь и, приблизив лицо к металлической сетке окна, чтобы лучше разглядеть доктора, царапнул по ней ногтем. Доктор Хиральдо растирал что-то в ступке.

— Что у него? — спросил падре.

— Я еще его не осматривал, — ответил врач. И добавил, словно размышляя о чем-то: — Вот какие вещи, падре, по воле господы происходят с людьми.

Замечание это падре Анхель оставил без ответа и только сказал:

— Таким мертвым, как этот бедный юноша, не выглядел ни один из мертвецов, которых я много перевидал на своем веку.

Он попрощался. Судов у причала уже не было. Начинало смеркаться. Падре Анхель отметил про себя, что после того как он увидел больного, состояние его духа изменилось. Внезапно он понял, что опаздывает, и заспешил к полицейскому участку.

Скорчившись, сжав голову ладонями, алькальд сидел на раскладном стуле.

— Добрый вечер, — медленно сказал падре.

Алькальд поднял голову, и падре содрогнулся при виде его красных от отчаяния глаз. Одна щека у алькальда была чистая

и свежевыбритая, но другая была в зарослях щетины и вымазана пепельно-серой мазью. Глухо застонав, он воскликнул:

— Падре, я застрелюсь!

Падре Анхель остановился, ошеломленный.

— Вы отравляете себя, принимая столько обезболивающего,— сказал он.

Громко топая, алькальд подбежал к стене и, вцепившись обеими руками себе в волосы, боднул ее. Падре еще никогда не доводилось быть свидетелем такой боли.

— Примите тогда еще две таблетки,— посоветовал он, сознавая, что предложить это средство его побуждает только собственная растерянность.— Оттого, что примете еще две, не умрете.

Он всегда терялся при виде человеческой боли — слишком ясно он сознавал свою полную перед ней беспомощность. В поисках таблеток падре обвел взглядом всю большую полупустую комнату. У стен стояли полдюжины табуреток с кожаными сиденьями и застекленный шкаф, набитый пыльными бумагами, а на гвозде висела литография с изображением президента республики. Таблеток он не увидел — только целлофановые обертки, валяющиеся на полу.

— Где они у вас? — спросил, уже отчаявшись найти таблетки, падре.

— Они на меня больше не действуют,— простонал алькальд.

— Ну скажите, где они? — снова спросил, подойдя к нему вплотную, падре.

Алькальда передернуло, и на падре Анхеля надвинулось огромное безобразное лицо.

— Черт подери! — крикнул алькальд.— Ведь говорил, чтобы не лезли ко мне!

И, подняв над головой табуретку, со всей яростью отчаяния швырнул ее в застекленный шкаф. Падре Анхель понял, что произошло, лишь после того, как посыпался стеклянный град и из облака пыли вынырнул, словно привидение, алькальд. На мгновение воцарилась абсолютная тишина.

— Лейтенант...— прошептал падре.

У открытой в коридор двери выросли полицейские с винтовками наготове. Порывисто дыша, алькальд поглядел на них невидящим взглядом, и они опустили винтовки, оставшись, однако, стоять у двери. Взяв алькальда за локоть, падре Анхель подвел его к стулу.

— Так где же все-таки таблетки?

Алькальд закрыл глаза и откинул назад голову.

— Это дерьмо я больше принимать не буду,— ответил он.— От них гудит в ушах и деревенеет череп.

Боль на время утихла, и алькальд, повернувшись к падре, спросил:

— С зубодером говорили?

Падре молча кивнул. По выражению его лица алькальд понял, каков результат беседы.

— Почему бы вам не поговорить с доктором Хиральдо? — предложил падре. — Некоторые врачи тоже умеют рвать зубы.

Алькальд ответил ему не сразу:

— Скажет, что у него нет щипцов. — И добавил: — Это заговор.

Он воспользовался тем, что боль утихла, чтобы отдохнуть от беспощадности послеполуденных часов. Когда он открыл глаза, в комнате было уже серо от наступивших сумерек. Даже не посмотрев, тут ли падре Анхель, он сказал:

— Вы пришли насчет Сесара Монтеро.

Ответа не последовало.

— Из-за этой боли я ничего не мог сделать, — продолжал алькальд.

Поднявшись, он зажег свет, и с балкона влетело первое облачко москитов. Сердце падре Анхеля сжалось от тревоги, вселяемой этим часом.

— Время идет, — сказал он.

— В среду я должен отправить его обязательно, — сказал алькальд. — Завтра все, что полагается сделать, будет сделано, и во вторую половину дня можете его исповедать.

— Во сколько?

— В четыре.

— Даже если будет дождь?

Взгляд алькальда исторг всю злость, накопившуюся в нем за две недели страданий.

— Даже если наступит конец света!

Таблетки и вправду больше не действовали. Надеясь, что вечерняя прохлада поможет ему заснуть, алькальд перевесил гамак из комнаты на балкон, но к восьми часам отчаяние снова охватило его, и он вышел на площадь, спавшую под бременем зноя летаргическим сном.

Побродив немного, но так и не найдя ничего, что отвлекло бы от боли, алькальд зашел в кинотеатр. Это была ошибка: от гудения военных самолетов боль усилилась. Он ушел, не дождаввшись перерыва, и оказался у аптеки в тот момент, когда дон Лало Москоте уже собрался запереть.

— Дайте мне самое сильное средство от зубной боли.

Аптекарь с изумлением поглядел на его щеку и направился в глубину комнаты, за двойной ряд стеклянных шкафов, заставленных сверху донизу фаянсовыми банками. На каждой из них было выведено синими буквами название. Глядя на аптекаря сзади, алькальд подумал, что этот человек с толстой розовой шеей, по всей вероятности, переживает сейчас самую счастливую минуту своей жизни. Он хорошо его знал. Аптекарь жил в двух задних комнатах этого дома, и его супруга, необыкновенно полная женщина, была уже много лет парализована.

Дон Лало Москоте вернулся с фаянсовой банкой без этикетки. Он поднял крышку, и изнутри пахло сильным запахом сладких трав.

— Что это?

Аптекарь запустил пальцы в наполнявшие банку сухие семена.

— Кресс,— ответил он.— Пожуйте хорошенько и подольше не проглатывайте слюну — при флюсе нет ничего лучше.

Он бросил несколько семян на ладонь и, глядя поверх очков на алькальда, сказал:

— Откройте рот.

Алькальд отпрянул. Потом, взяв банку и повертев ее в руках, посмотрел, не написано ли на ней что-нибудь, и снова перевел взгляд на аптекаря.

— Дайте мне что-нибудь заграничное,— попросил он.

— Это лучше любых заграничных средств,— сказал дон Лало Москоте.— Проверено опытом трех тысячелетий.

И он начал заворачивать семена в обрывок газеты. Он вел себя не как отец, а как родной дядя — заворачивал кресс старательно и любовно, как если бы делал для ребенка бумажного голубя. Когда дон Лало Москоте поднял голову, стало видно, что он улыбается.

— Почему вы его не удалите?

Алькальд молча подал ему деньги и, не дожидаясь сдачи, вышел на улицу.

Было уже за полночь, а он все ворочался в гамаке, не решаясь взять в рот семена кресса. Около одиннадцати, когда духота стала непереносимой, хлынул ливень, который перешел потом в мелкий дождь. Измученный высокой температурой, дрожащий от клейкого холодного пота, алькальд, раскрыв рот, вытянулся ничком в гамаке и начал мысленно молиться. Молился он горячо, напрягая до предела все мускулы, однако видел: чем сильнее стремится он приблизиться к богу, тем неумолимей боль отталкивает его назад. Соскочив с гамака и надев поверх пижамы плащ и сапоги, алькальд бегом помчался в полицейский участок.

Он ворвался туда с громким воплем. Путаясь в сетях кошмара и действительности, наталкиваясь в темноте друг на друга, полицейские бросились к своим винтовкам. Когда вспыхнул свет, они замерли, полуодетые, ожидая приказа.

— Гонсалес, Ровира, Перальта! — выкрикнул алькальд.

Все трое мигом его окружили. Не было никакой видимой причины для выбора именно этих трех — все они были обыкновенные метисы. На одном, остриженном под машинку и с детскими чертами лица, была фланелевая рубашка, на двух других поверх такой же рубашки была надета расстегнутая гимнастерка.

Никакого вразумительного приказа они не получили. Перепрыгивая через четыре ступеньки, полицейские высочили вслед за алькальдом из участка, перебежали под дождем улицу и остановились

перед домом зубного врача. Два дружных усилия — и дверь под ударами прикладов разлетелась в щепы. Они уже вошли, когда в передней зажегся свет. Из двери в глубине дома появился маленький, лысый, жилистый человек в трусах, пытавшийся натянуть на себя купальный халат. На мгновение он застыл с разинутым ртом и поднятой вверх рукой, словно освещенный фотовспышкой, а потом отпрыгнул назад и столкнулся со своей женой, которая в ночной рубашке выбежала из спальни.

— Спокойно! — крикнул алькальд.

Воскликнув «Ой!», женщина зажала руками рот и кинулась назад, в спальню. Зубной врач, завязывая пояс халата, направился к входной двери и только теперь разглядел трех полицейских с нацеленными в него винтовками и алькальда, стоявшего неподвижно, засунув руки в карманы плаща, с которого текло ручьями.

— Если сенюра выйдет, в нее выстрелят, — сказал алькальд.

Держась за ручку двери, зубной врач крикнул в комнату:

— Ты слышала, детка?

И, с педантичной аккуратностью закрыв дверь спальни, он пошел между старыми стульями к зубоучебному кабинету. Продымленные глаза винтовочных дул неотрывно следили за ним, а в дверях кабинета его опередили два полицейских. Один включил свет, другой пошел прямо к письменному столу и, выдвинув ящик, взял из него револьвер.

— Должен быть еще один, — сказал алькальд.

Он вошел в кабинет следом за зубным врачом. Один полицейский стал у двери, а двое других провели быстрый, но тщательный обыск. Они перевернули на рабочем столе ящичек с инструментами, рассыпав при этом по полу гипсовые слепки, протезы и золотые коронки; высыпали содержимое фаянсовых банок, стоявших в шкафу, и несколькими взмахами штыка вспороли резиновый подголовник зубоучебного кресла и сиденье с пружинами у вращающегося табурета.

— Тридцать восьмого калибра, длинноствольный, — уточнил алькальд.

Он посмотрел пристально на зубного врача.

— Будет лучше, если вы сразу скажете, где он. Мы пришли не для того, чтобы переворачивать все вверх дном.

Узкие потухшие глаза зубного врача ничего не выразили.

— А я куда не тороплюсь, — медленно ответил он. — Если есть охота, переворачивайте.

Алькальд задумался, а потом, еще раз обведя взглядом комнатку со стенами из необструганных досок, двинулся, отдавая отрывистые приказания полицейским, к зубоучебному креслу. Одному он велел стать у выхода на улицу, другому — у двери кабинета, а третьему у окна. Усевшись в кресло, он застегнул наконец промокший плащ и почувствовал себя так, будто его одели в холодный металл. Он втянул в себя пахнущий креозотом воздух, откинул голову на

подушечку и постарался дышать ровнее. Зубной врач подобрал с пола несколько инструментов и поставил кипятить в кастрюльке.

Стоя к алькальду спиной, он глядел на голубое пламя спиртовки с таким видом, как будто, кроме него, в кабинете никого не было. Когда вода закипела, он прихватил ручку кастрюльки бумагой и понес кастрюльку к зубоврачебному креслу. Дорогу загоразивал полицейский. Чтобы пар не мешал ему видеть алькальда, зубной врач опустил кастрюльку пониже и сказал:

— Прикажите этому убийце отойти в сторону — он мешает.

Алькальд махнул рукой, и полицейский, отступив от окна, пропустил врача к креслу, а потом пододвинул к стене стул и сел, широко расставив ноги, положив винтовку на колени, готовый в любой момент выстрелить. Зубной врач включил лампу. Алькальд, ослепленный внезапным светом, зажмурился и открыл рот. Боль прошла.

Оттянув указательным пальцем в сторону воспаленную щеку, а другой рукой направляя лампу, не обращая никакого внимания на тревожное дыхание пациента, врач нашел больной зуб, закатал рукав до локтя и приготовился его тащить.

Алькальд схватил врача за руку:

— Анестезию!

Впервые их взгляды встретились.

— Вы убиваете без анестезии, — спокойно сказал зубной врач.

Алькальд не чувствовал, чтобы сжимающая щипцы рука, которую он держал за запястье, хоть как-то пыталась высвободиться.

— Принесите ампулы! — потребовал он.

Полицейский, стоявший в углу, направил дуло винтовки в их сторону, и они оба услышали шорох прижимаемого к плечу приклада.

— А если их нет? — сказал зубной врач.

Алькальд выпустил его руку.

— Не может быть, чтобы не было, — сказал он, обегая безутешным взглядом рассыпанные по полу зубоврачебные принадлежности.

Зубной врач с сострадательным вниманием наблюдал за ним. Потом, толкнув голову алькальда на подголовник и впервые обнаруживая признаки раздражения, он сказал:

— Не ваяйте дурака, лейтенант: при таком абсцессе никакая анестезия не поможет.

Когда миновало самое страшное мгновение в его жизни, алькальд расслабился и остался, совсем обессиленный, сидеть в кресле, в то время как знаки, нарисованные сыростью на гладком потолке кабинета, навсегда запечатлелись в его памяти. Он услышал, как зубной врач возится около умывальника, услышал, как тот молча ставит на прежние места металлические коробки и подбирает рассыпанные на полу предметы.

— Ровира! — позвал алькальд. — Скажи Гонсалесу — пусть войдет. Поднимите все с пола и разложите по местам.

Полицейские принялись за дело. Зубной врач взял пинцетом клочок ваты, обмакнул его в жидкость стального цвета и положил в рану. Алькальд ощутил легкое жжение. Врач закрыл ему рот, а он по-прежнему сидел, глядя в потолок и прислушиваясь к возне полицейских, силившихся по памяти придать кабинету вид, в каком он был до их прихода. На башне пробило два, и минутой позже сквозь бормотание дождя время отметила своим криком выпь.

Увидев, что полицейские закончили, алькальд махнул рукой, чтобы они уходили. Все это время зубной врач был около кресла. Когда полицейские ушли, он вытащил из ранки тампон, осмотрел, света лампой, полость рта, снова сомкнул челюсти алькальда и выключил свет. Все было сделано. В душевной комнате воцарилась неуютная и странная пустота — такая бывает в театре после того, как уйдет последний актер; ее знают только уборщики.

— Вы неблагодарны, — сказал алькальд.

Зубной врач сунул руки в карманы халата и отступил на шаг, чтобы дать ему дорогу.

— У нас был приказ обыскать весь дом, — продолжал алькальд, пытаясь разглядеть за кругом света от лампы лицо врача. — Были указания найти и изъять оружие, боеприпасы и документы с планами антиправительственного заговора. — И, не сводя с зубного врача взгляда еще влажных глаз, добавил: — Вы знаете, что все это правда.

Лицо зубного врача было непроницаемо.

— Я думал, что поступаю хорошо, не выполняя этого приказа, — снова заговорил алькальд, — но я ошибался. Теперь все по-другому, у оппозиции есть гарантии, все живут в мире, а у вас в голове по-прежнему заговоры.

Зубной врач вытер рукавом подушку кресла и перевернул ее нераспоротой стороной вверх.

— Ваша позиция наносит вред всему городку, — продолжал алькальд, показывая на подушку и игнорируя задумчивый взгляд, устремленный зубным врачом на его щеку. — Теперь муниципалитету придется платить за все это, и за входную дверь тоже. Кругленькую сумму — и все из-за вашего упрямства.

— Полощите рот шалфеем, — сказал зубной врач.

IV

В толковом словаре судьи Аркадио нескольких страниц не хватало, и ему пришлось заглянуть в словарь, который был на почте. Ничего вразумительного: «Пасквиль — имя римского сапожника, прославившегося сатирами, которые он на всех писал» — и другие малосущественные уточнения. Было бы в такой же мере исторически справедливо, подумал он, назвать наклеенную на дверь дома ано-

нимку «марфорियो»*. Однако разочарования он не испытывал. В те две минуты, которые он потратил, перелистывая словарь, он впервые за долгое время ощутил приятное чувство исполненного долга.

Видя, что судья Аркадио ставит словарь на этажерку между забытыми томами почтово-телеграфных инструкций и уложений, телеграфист энергичным ударом закончил выстукивание телеграммы, а потом поднялся и подошел к судье, тасуя карты: ему не терпелось продемонстрировать модный фокус — угадывание трех карт. Однако судью Аркадио это совсем не интересовало.

— Я очень спешу, — извинился он и вышел на пышущую жаром улицу.

Он знал, что еще нет одиннадцати и что сегодня, во вторник, впереди у него немало часов, которые надо чем-то заполнить.

В суде его ждал со щекотливым делом алькальд. В последние выборы избирательные карточки членов оппозиционной партии были конфискованы и уничтожены полицией, и теперь у большинства жителей городка не было единственного документа, удостоверявшего их личность.

— Эти люди, которые перетаскивают дома, — сказал, разводя руками, алькальд, — не знают даже, как их зовут.

Судья Аркадио понял, что разведенные руки выражают искреннюю озабоченность. Однако разрешить эту проблему было легко — следовало только назначить регистратора актов гражданского состояния. Еще больше облегчил дело секретарь, который сказал:

— Да надо просто-напросто послать за ним — он уже год как назначен.

Алькальд вспомнил. Несколько месяцев назад, когда ему сообщили, что назначен регистратор актов гражданского состояния, он запросил по междугородному телефону, как его встретить, и получил ответ: «Выстрелами». Теперь поступали другие указания.

Сунув руки в карманы, он повернулся к секретарю:

— Напишите письмо.

Стрекот пишущей машинки внес в комнату суда атмосферу бурной деятельности, отнюдь не соответствовавшую настроению судьи Аркадио. Чувствуя внутри себя пустоту, он достал из кармана рубашки смятую сигарету и, перед тем как закурить, покатал ее между ладонями. Потом откинулся в кресле, оттянув до предела пружины, которыми спинка прикреплялась к сиденью, и вдруг с необыкновенной остротой ощутил, что он живет.

Судья Аркадио сначала построил фразу в уме, а уже потом произнес ее:

— Я бы на вашем месте назначил также уполномоченного.

* *Марфорियो* (итал.) — просторечное название античной статуи из белого мрамора, на которую в средневековом Риме приклеивали сатирические стихи. (Здесь и далее примечания переводчика.)

Алькальд против ожидания судьи ответил не сразу. Он посмотрел на часы, но не увидел, сколько времени, а просто отметил про себя, что до обеда еще далеко. Когда он наконец заговорил, особого воодушевления в его голосе не слышалось: он не знал, как назначают уполномоченного.

— Уполномоченного назначает муниципальный совет, — объяснил судья Аркадио. — А поскольку таковой отсутствует и по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения, вы имеете право назначить его сами.

Алькальд, не читая, подписал письмо и горячо поддержал предложение судьи, однако секретарю рекомендованная его начальником процедура показалась этически сомнительной.

Судья Аркадио стоял на своем: речь идет о чрезвычайной процедуре в условиях чрезвычайного положения.

— Звучит неплохо, — сказал алькальд.

Он снял фуражку и начал ею обмахиваться; судья Аркадио увидел на его лбу отпечатавшийся след околыша. По тому, как тот обмахивался, он понял, что алькальд по-прежнему о чем-то думает. Стряхнув длинным изогнутым ногтем мизинца пепел с сигареты, судья стал ждать.

— Вам не приходит в голову какой-нибудь кандидат? — спросил алькальд.

Было ясно, что вопрос обращен к секретарю.

— Кандидат... — повторил судья, закрыв глаза.

— Я бы на вашем месте назначил честного человека, — сказал секретарь.

Судья поспешил сгладить его бестактность.

— Это само собой разумеется, — сказал он, переводя взгляд с одного собеседника на другого.

— Кого, например? — спросил алькальд.

— Сейчас мне никто не приходит в голову, — в раздумье ответил судья Аркадио.

Алькальд направился к двери.

— Подумайте об этом, — сказал он судье. — Когда разделаемся с наводнением, займемся вопросом об уполномоченном.

Секретарь, который сидел, склонясь, над пишущей машинкой, выпрямился только тогда, когда стук каблуков алькальда совсем затих.

— Да он спятил, — заговорил секретарь. — Полтора года назад тогдашнему уполномоченному размозжили прикладами голову, а теперь он ищет, кого бы ему осчастливить этой должностью.

Судья Аркадио вскочил на ноги.

— Я уйду, — сказал он. — Не хочу, чтобы ты отравил мне обед своими ужасными рассказами.

Судья вышел на улицу. Полдень был какой-то зловещий, и склонный к суевериям секретарь это про себя отметил. Когда он навешивал на дверь замок, ему показалось, будто он совершает что-то запретное. Он побежал и в дверях почты нагнал судью Аркадио, которому захотелось узнать, нельзя ли фокус с тремя картами применить как-нибудь при игре в покер. Телеграфист отказался раскрыть секрет фокуса и согласился только показывать его до тех пор, пока судья Аркадио сам его не поймет. Секретарь смотрел тоже и наконец догадался, в чем дело, а судья Аркадио ни разу даже не взглянул на три карты: он был уверен, что это те самые, какие он назвал, и что именно их телеграфист, не глядя, вытаскивает из колоды и отдает ему.

— Это магия,— сказал телеграфист.

Судья Аркадио подумал, что надо, пожалуй, перейти на другую сторону улицы. Решившись на это, он схватил секретаря за локоть и потянул, словно заставил погрузиться вместе с собой в расплавленное стекло, из которого они вынырнули в тень тротуара. Секретарь объяснил ему фокус. Оказалось так просто, что судья Аркадио почувствовал себя задетым.

Некоторое время они шли молча.

— Вы, конечно, так ничего и не выяснили? — спросил вдруг судья.

Секретарь не сразу понял, о чем идет речь.

— Это очень трудно,— ответил наконец он.— Большинство листков срывают еще до рассвета.

— Этого фокуса я тоже не понимаю,— сказал судья Аркадио.— Клеветнические листки, которые никто не читает, мне бы спать не помешали.

— Дело тут в другом,— сказал секретарь, останавливаясь у своего дома.— Спать людям мешают не сами листки, а страх перед ними.

Хотя сведения, собранные секретарем, были далеко не полными, судья Аркадио все равно захотел их узнать. Он записал все, с именами и подробностями — одиннадцать случаев за семь дней. Ничего общего между одиннадцатью именами не было. По мнению тех, кто видел листки, они были написаны кистью, синими чернилами. Буквы были печатные и заглавные перемешаны со строчными, будто писал ребенок. Орфографические ошибки были так абсурдны, что казались намеренными. Никаких тайн листки не раскрывали — все, что в них сообщалось, давно уже было общим достоянием. Он перебрал в уме все мыслимые догадки, и тут его окликнул из своей лавки сириец Мойсес:

— Найдется у вас одно песо?

Судья Аркадио не понял, зачем ему одно песо, но карманы вывернул. Там были двадцать пять сентаво и монетка из США —

амулет, который он носил с собой повсюду со студенческих лет. Сириец Мойсес взял двадцать пять сентаво.

— Что хотите берите и когда хотите платите,— сказал он и со звоном ссыпал монеты в пустую кассу.— Не люблю, когда наступает полдень, а мне не за что возблагодарить господ.

Вот почему, когда било двенадцать, судья Аркадио вошел к себе в дом, нагруженный подарками для жены. Он сел на кровать переобуться, а она, завернувшись в отрез набивного шелка, представила себе, какой она будет после родов в новом платье. Она поцеловала мужа в нос. Он попытался было увернуться, но она опрокинула его на спину поперек кровати и навалилась на него. Минуту они пролежали без движения. Судья Аркадио погладил ее по спине, ощущая жар огромного живота, и внезапно почувствовал, как ее бедра вздрогнули.

Она подняла голову и пробормотала сквозь зубы:

— Подожди, я закрою дверь...

Алькальд ждал, пока установят последний дом. За двадцать часов возникла новая улица, широкая и голая, упиравшаяся прямо в стену кладбища. Алькальд работал вместе со всеми, расставлял мебель, а потом, уже задыхаясь, ввалился в ближайшую к нему кухню. На очаге, сложенном из камней, кипел суп. Он приподнял крышку с глиняного горшка и вдохнул пар. С другой стороны очага на него молча смотрела большими спокойными глазами худая женщина.

— Значит, победаем,— обратился к ней алькальд.

Женщина ничего не сказала. Алькальд, не дожидаясь приглашения, налил себе тарелку супа. Тогда женщина принесла из комнаты стул и поставила его перед столом, чтобы алькальд мог сесть. Хлебная суп, он с благоговейным ужасом оглядел патио. Еще вчера здесь была только голая земля, а сегодня сушилось на веревке белье и в грязи барахтались две свиньи.

— Можете тут даже что-нибудь посадить,— сказал он.

Не поднимая головы, женщина ответила:

— Все равно свиньи сожрут.

А потом, положив на тарелку кусок вареного мяса, два ломтя маниоки и половину зеленого банана, подала ему, подчеркнуто вкладывая в этот акт гостеприимства все безразличие, на какое только была способна. Алькальд, улыбаясь, попытался встретиться с нею взглядом.

— Хватит на всех,— сказал он.

— Пошли вам бог несварение,— ответила, не глядя на него, женщина.

Он сделал вид, что не слышал дурного пожелания, и занялся едой, не обращая внимания на ручейки пота, стекающие по шее. Когда он доел, женщина, по-прежнему на него не глядя, взяла пустую тарелку.

— И долго вы думаете продолжать это? — спросил алькальд.
Когда женщина заговорила, лицо ее осталось таким же спокойным:

— Пока вы не воскресите наших близких, которых вы убили.

— Сейчас все по-другому, — сказал алькальд. — Новое правительство заботится о благосостоянии граждан, а вы...

Женщина прервала его:

— Как было, так и осталось.

— Чтобы за двадцать четыре часа построили целую улицу — такого еще никогда не бывало, — продолжал алькальд. — Мы пытаемся сделать городок пристойным.

Женщина сняла с проволоки чистое белье и отнесла его в комнату. Алькальд не отрывал от нее взгляда, пока не услышал ответ:

— Наш городок был пристойным, пока не появились вы.

Кофе алькальд ждать не стал.

— Неблагодарные, — сказал он. — Мы дарим им землю, а они еще недовольны.

Женщина не ответила, но, когда алькальд пошел через кухню к выходу на улицу, пробормотала, склонившись над очагом:

— Здесь будет еще хуже, здесь мы будем чаще вас вспоминать — мертвые совсем рядом.

Алькальд попытался вздремнуть до прибытия баркасов, но не смог — зной был невыносим. Опухоль начала спадать, однако чувствовал он себя по-прежнему плохо. Целых два часа, провозжая взглядом едва уловимое течение реки, алькальд слушал, как где-то в его комнате стрекочет цикада. Он ни о чем не думал.

Услышав наконец шум приближающихся баркасов, алькальд разделся догола, обер полотенцем потное тело и надел форму. Потом отыскал цикаду, взял ее двумя пальцами и вышел на улицу. Из толпы, дожидавшейся баркасов, выбежал чистый, хорошо одетый мальчик и преградил путь алькалду пластмассовым автоматом. Алькальд отдал ему цикаду.

Минутой позже, сидя в лавке сирийца Мойсеса, он уже смотрел, как причаливают суда. Десять минут набережная кипела. Алькальд почувствовал тяжесть в желудке и тупую головную боль, и ему вспомнилось дурное пожелание женщины. Он отвлёкся, глядя на пассажиров, спускающихся по деревянным сходням иправляющих мышцы после восьми часов неподвижного сидения.

— Всегда одно и то же, — сказал он.

Сириец Мойсес обратил его внимание на то, что в этот раз есть и кое-что новое: прибыл цирк. Алькальд уже знал об этом, хотя не мог бы объяснить, откуда: может, благодаря тому, что на крыше баркаса громоздилась груда шестов и разноцветных полотнищ, или потому, что он увидел двух женщин в платьях одного фасона и расцветки, будто одного человека повторили два раза.

— Хоть цирк приехал,— проворчал он.

Сириец Мойсес заговорил было о зверях и жонглерах, но алькальд смотрел на цирк с другой точки зрения. Вытянув ноги, он оглядел носки сапог.

— В наш городок приходит прогресс,— сказал он сирийцу.

Сириец перестал обмахиваться веером.

— Знаешь, на сколько я сегодня продал товара? — спросил он.

Алькальд, не рискуя назвать цифру, ждал, чтобы тот назвал ее сам.

— На двадцать пять сентаво,— сказал сириец.

В это мгновение алькальд увидел, как телеграфист открывает мешок с почтой и вручает корреспонденцию доктору Хиральдо. Алькальд подозвал телеграфиста к себе. Официальная почта была в особом конверте. Сломав печати, он не нашел в нем ничего, кроме обычных сообщений и пропагандистских материалов правительства. Кончив читать, он увидел, что набережная преобразилась — ее загромождали тюки товаров, корзины с курами и загадочный цирковой инвентарь. Наступила вторая половина дня. Алькальд вздохнул и поднялся.

— Двадцать пять сентаво!

— Двадцать пять сентаво,— твердо и почти без акцента повторил сириец.

Доктор Хиральдо наблюдал разгрузку баркасов до самого конца. Именно он обратил внимание алькальда на могучую, величественную как идол женщину с несколькими браслетами на руках. Было похоже, что под своим ярким разноцветным зонтом она решила дожидаться конца света. Большого интереса новоприбывшая у алькальда не вызвала.

— Укротительница, наверно,— предположил он.

— Да, в известном смысле,— сказал доктор, будто откусывая каждое слово похожими на заостренные камешки зубами.— Теща Сесара Монтеро.

Алькальд двинулся дальше. Взглянул на часы: без двадцати пяти четыре. В дверях участка дежурный доложил ему, что падре Анхель прождал его полчаса и вернется к четверем.

Не зная, как убить время, он снова вышел на улицу, увидел зубного врача в окне кабинета и подошел попросить у него огонька. Доктор Эскобар посмотрел на его опухшую щеку.

— Уже прошло,— сказал алькальд и открыл рот.

Зубной врач заметил:

— Некоторые надо запломбировать.

Алькальд поправил на поясе револьвер.

— Я к вам приду,— сказал он решительно.

Лицо зубного врача ничего не выразило.

— Приходите когда захотите — может, сбудутся мои пожелания и вы умрете у меня в доме.

Алькальд хлопнул его по плечу.

— Не сбудутся,— весело сказал он. И вскинув руки, добавил: — Мои зубы выше разногласий между партиями.

— Так ты не хочешь обвенчаться?

Жена судьи Аркадио села удобнее, расставив пошире ноги.

— Ни за что, падре,— ответила она.— А уж теперь, когда я скоро рожу ему сына, даже разговора об этом быть не может.

Падре Анхель перевел взгляд на реку. Течением несло огромную коровью тушу; на ней сидели несколько стервятников.

— Но ведь ребенок будет незаконнорожденный.

— Ну и что с того? — сказала женщина.— Аркадио обращается со мной хорошо, а если я женю его на себе, он будет чувствовать себя связанным, и мне придется за это расплачиваться.

Она сбросила деревянные шлепанцы и сидела теперь, сжимая пальцами ног перекладину табурета. Веер лежал у нее в подоле платья, а руки она скрестила на своем большом животе.

— Ни за что на свете, падре,— повторила она, видя, что тот хранит молчание.— Дон Сабас купил меня за двести песо, мною пользовался три месяца и почти голую выбросил на улицу. Я бы умерла с голоду, не подбери меня Аркадио.— Она впервые посмотрела на падре в упор.— Или бы шлюхой стала.

Падре Анхель уговаривал ее уже шесть месяцев.

— Ты должна заставить его жениться на тебе и основать семью. Ведь сейчас не только твое положение непрочно, но ты подаешь дурной пример всему городку.

— Лучше все делать в открытую,— сказала она.— Другие делают то же, но только при потушенном свете. Разве вы не читали листки?

— Это все клевета,— сказал падре.— Тебе надо узаконить свое положение и оградить себя от сплетен.

— Себя? — удивилась она. — Мне себя ни от чего ограждать не надо, я ничего ни от кого не скрываю. Потому никто и не тратит время, чтобы наклеивать листки на мой дом, а вот дома «приличной» публики на площади все в бумажках.

— Ты невежественна,— сказал падре,— но по милости божьей встретила человека, который относится к тебе с уважением. В благодарность за это ты должна обвенчаться и сделать свой союз законным.

— Я ни в чем этом не разбираюсь,— сказала она,— но сейчас у меня есть крыша над головой, и еды хватает.

— Ну а если он тебя бросит?

Она закусил губу, а потом с загадочной улыбкой ответила:

— Не бросит, падре. Я знаю, что говорю.

Но и на этот раз падре Анхель не захотел признать себя побежденным. Он посоветовал ей хотя бы ходить к мессе. Она сказала, что как-нибудь на днях придет.

Падре в ожидании встречи с алькальдом возобновил прогулку. Один из сирийцев обратил его внимание на хорошую погоду, однако голова священника была занята другим. Его интересовал цирк, выгружавший в ярком свете солнца своих перепуганных зверей. Он простоял, наблюдая за ними, до четырех часов.

Попрощавшись с зубным врачом, алькальд увидел падре, идущего ему навстречу.

— Мы пунктуальны,— сказал он, протягивая священнику руку. — Пунктуальны, хотя дождя нет.

Падре, уже собравшийся подняться по крутой лестнице в полицейский участок, отозвался:

— ...и не наступает конец света.

Двумя минутами позже его ввели в комнату, где содержался Сесар Монтеро.

Пока шла исповедь, алькальд сидел в коридоре. Он вспоминал цирк, женщину, которая висела, вцепившись во что-то зубами, на высоте пяти метров, и мужчину в голубой, расшитой золотом униформе, отбивавшего барабанную дробь.

Падре Анхель вышел из комнаты Сесара Монтеро через полчаса.

— Все? — спросил алькальд.

Падре Анхель окинул его гневным взглядом.

— Вы совершаете преступление,— сказал он. — Уже больше пяти дней у этого человека не было во рту ни крошки. Если он еще жив, то только благодаря своей конституции.

— Что поделаешь, если он сам не хочет,— равнодушно сказал алькальд.

— Неправда,— спокойно, но решительно возразил падре. — Это вы приказали не давать ему есть.

Алькальд погрозил пальцем.

— Осторожно, падре, вы нарушаете тайну исповеди.

— Это не входит в исповедь.

Алькальд вскочил на ноги.

— Не лезьте в бутылку,— неожиданно рассмеявшись, сказал он. — Если это вас так волнует, мы поправим дело прямо сейчас.

Он позвал полицейского и приказал, чтобы Сесару Монтеро принесли обед из гостиницы.

— Пусть пришлют целую курицу пожирнее, тарелку картошки и миску салата,— сказал он. И, повернувшись к падре, добавил: — Все за счет муниципалитета. Чтобы вы видели, какие теперь времена.

Падре Анхель опустил голову.

— Когда вы его отправите?

— Баркасы уходят завтра,— сказал алькальд. — Если сегодня вечером он проявит благоразумие, его отправят завтра же утром. Ему бы следовало понять, что я делаю ему одолжение.

— Дороговатое одолжение,— сказал падре.

— Все одолжения стоят денег,— отозвался алькальд.

Он посмотрел в прозрачно-голубые глаза падре Анхеля и спросил:

— Надеюсь, вы довели это до его сознания?

Не ответив, падре Анхель спустился по лестнице и глухо буркнул снизу слова прощания. Алькальд пересек коридор и без стука вошел к Сесару Монтеро.

В комнате были лишь умывальник и железная кровать. Сесар Монтеро, небритый, в той же одежде, в какой вышел из дому во вторник на прошлой неделе, лежал на кровати. Взгляд его, когда он услышал голос алькальда, даже на миг не сдвинулся с точки, в которую был устремлен.

— Теперь, когда ты уладил свои дела с богом,— сказал алькальд,— самое время уладить их и со мной.

Он пододвинул к кровати стул и сел на него верхом, навалившись грудью на плетеную спинку. Сесар Монтеро внимательно разглядывал балки потолка. Он не казался удрученным, хотя опущенные углы рта свидетельствовали о бесконечном разговоре с самим собой.

— Нам с тобой не к чему ходить вокруг да около,— услышал он. — Завтра тебя отправят. Если тебе повезет, через два-три месяца приедет специальный инспектор. Мы должны будем обо всем ему рассказать. Он уедет следующим же баркасом, убежденный в том, что ты сделал глупость.

Наступила пауза, но Сесар Монтеро был невозмутим как прежде.

— Потом судьи и адвокаты вытянут из тебя, самое меньшее, двадцать тысяч песо, а может быть, и больше, если инспектор сообщит им, что ты миллионер.

Сесар Монтеро повернул к нему голову. Хотя движение было едва заметным, пружины кровати скрипнули.

— И в конце концов,— вкрадчиво продолжал алькальд,— после всей этой бумажной волокиты тебе, если повезет, дадут два года.

Взгляд безмолвного собеседника остановился на носках его сапог, а потом пополз вверх. Когда глаза Сесара Монтеро встретились с глазами алькальда, тот еще говорил, но теперь уже другим тоном.

— Всем, что ты имеешь, ты обязан мне,— говорил алькальд. — Был приказ тебя ликвидировать, убить тебя из засады и конфисковать скот, чтобы правительство могло покрыть огромные расходы на выборы по нашему департаменту. Ты прекрасно знаешь, что другие алькальды в других округах так и поступали. Но я приказа не выполнил.

Только теперь он почувствовал, что Сесар Монтеро размышляет. Алькальд вытянул ноги и, упершись грудью в спинку стула, ответил на не высказанное вслух обвинение:

— Ни одного сентаво из того, что ты заплатил за свою жизнь, мне не досталось — все пошло на организацию выборов. Сейчас новое правительство решило, что должны быть мир и гарантии для всех — и у меня по-прежнему только мое паршивое жалованье, а ты не знаешь, куда девать деньги. Ничего не скажешь — ты зря время не терял.

Медленно и с трудом Сесар Монтеро начал подниматься. Когда он встал, алькальд увидел себя со стороны, такого маленького и грустного, перед этим монументальным зверем. Взгляд, которым алькальд проводил Сесара Монтеро до окна, загорелся каким-то странным огнем.

— Не потерял ни одной минутки, — негромко добавил он.

Окно выходило на реку. Сесар Монтеро не узнал открывшегося перед ним вида. Ему почудилось, будто он в каком-то другом городке, где тоже по случайному совпадению протекает река.

— Я пытаюсь тебе помочь, — услышал он голос у себя за спиной. — Все мы знаем, что была затронута твоя честь, но доказать это тебе будет нелегко. Ты сделал глупость, когда разорвал листок.

В это мгновение в комнату проникла тошнотворная вонь.

— Коровя! — сказал алькальд. — Наверно, выбросило на берег.

Безразличный к запаху разложения, Сесар Монтеро продолжал стоять у окна. На улице не видно было ни души. У причала стояли на якоре три баркаса, и их команды, готовясь ко сну, развешивали гамаки. Завтра в семь утра все изменится: полчаса набережная будет полна людей, которые соберутся посмотреть, как отправляют заключенного. Сесар Монтеро вздохнул, сунул руки в карманы и выразил то, о чем думал, одним решительным, но неторопливо сказанным словом:

— Сколько?

Ответ последовал незамедлительно:

— На пять тысяч песо годовалых телят.

— И еще прибавлю пять телят, — сказал Сесар Монтеро, — чтобы ты отправил меня сегодня ночью, после кино, специальным баркасом.

V

Баркас загудел, развернулся на середине реки, и толпа, собравшаяся на набережной, женщины, смотревшие из окон, в последний раз увидели Росарио Монтеро. Она, рядом со своей матерью, сидела на том же жестяном сундучке, с которым семь лет назад сошла здесь на берег. Доктору Октавио Хиральдо, брившемуся у окна приемной, показа-

лось, что отъезд этот является в каком-то смысле возвращением к действительности.

Доктор Хиральдо видел Росарио в день приезда. На ней были тогда заношенная форма студентки учительского института и мужские ботинки, и она искала, кто возьмет подешевле за то, чтобы донести ее чемодан до школы. Казалось, что она приготовилась спокойно стареть в этом городке, название которого впервые увидела (как рассказывала сама) на бумажке, вытащенной ею из шляпы, когда между одиннадцатью выпускниками разыгрывались шесть наличных вакансий. Она поселилась в здании школы, в комнатке, где стояли железная кровать и умывальник. Все свободное время она посвящала вышиванию скатертей, в то время, как на керосинке у нее варилась кукурузная каша. И в тот же самый год, под рождество, она познакомилась на школьной вечеринке с Сесаром Монтеро — угрюмым холостяком с неясной родословной, разбогатевшим на торговле лесом. Он жил в девственной сельве, окруженный огромными собаками, и в городке появлялся только изредка, всегда небритый, в подкованных железом сапогах и с двустволкой. «Как будто еще раз вытащила из шляпы счастливый билет», — подумал, покрывая подбородок мыльной пеной, доктор Хиральдо. Однако тут его отвлекло от воспоминаний тошнотворное зловоние.

На противоположном берегу взлетела стая стервятников — их спугнула поднятая баркасами волна. Трупный запах повис на мгновение над причалом, смешался с утренним ветерком и проник с ним в дома.

— Все она, черт ее побери! — глядя с балкона спальни на парящих в воздухе стервятников, выругался алькальд. — Проклятая корова!

Он прикрыл нос платком, вошел в спальню и закрыл дверь балкона. Запах чувствовался и в комнате. Не снимая фуражки, он повесил на гвоздь зеркало и попытался осторожно побрить воспаленную еще немного щеку. Почти тут же в дверь постучал директор цирка.

Алькальд предложил ему сесть и, продолжая бриться, посмотрел на него в зеркало. На директоре были рубашка в черную клетку, бриджи и гетры; в руке он держал стек и ритмично постукивал им себя по колену.

— На вас уже поступила жалоба, — сказал алькальд, снимая со щечи бритвой последние следы двух недель отчаяния. — Недавно, сегодня вечером.

— Какая жалоба?

— Что вы посылаете детей воровать кошек.

— Неправда, — сказал директор. — Просто покупаем на вес всех кошек, которых нам приносят, и не спрашиваем, откуда их берут. Мы кормим ими зверей.

— Бросаете на растерзание прямо живыми?

— Что вы! — возмущился директор. — Это пробуждало бы в зверях хищные инстинкты.

Алькальд умылся и, вытирая лицо полотенцем, повернулся к нему. Только теперь он заметил, что у директора почти на всех пальцах кольца с цветными камешками.

— Так что придется вам придумать что-нибудь другое, — сказал он. — Ловите кайманов, если хотите, или подбирайте рыбу — она дохнет в такую погоду. А живых кошек — ни-ни.

Пожав плечами, директор цирка вышел вслед за алькальдом на улицу. Несмотря на зловоние от трупа коровы, застрявшей в зарослях на другом берегу, у дверей домов стояли и разговаривали мужчины.

— Эй, кумушки! — крикнул алькальд. — Чем языки чесать, организовались бы лучше да убрали корову! Надо было сделать это еще вчера вечером!

Несколько мужчин подошли к нему.

— Пятьдесят песо тому, кто за час принесет мне в канцелярию ее рога! — громко пообещал алькальд.

В конце набережной поднялся гам. Там услышали слова алькальда, и теперь, криками вызывая друг друга на состязание и торопливо отвязывая канаты, люди прыгали в лодки.

Алькальд, воодушевившись, удвоил сумму:

— Сто песо! По пятьдесят за рог!

Он потащил директора цирка к причалу. Они подождали, пока первые лодки не достигли песчаных отмелей другого берега, и тогда алькальд повернулся, улыбаясь, к директору.

— Счастливый городок, — сказал он.

Директор цирка выразил кивком согласие.

— Мероприятия вроде этого — вот единственное, чего нам не хватает, — продолжал алькальд. — А то от безделья люди начинают думать о всяких глупостях.

Мало-помалу вокруг них собрался кружок детей.

— Цирк вон там, — сказал директор.

Алькальд потянул его за руку к площади.

— Что покажете? — спросил он.

— Все, — ответил директор. — Представление у нас большое и разнообразное, для детей и для взрослых.

— Этого мало, — сказал алькальд. — Надо еще, чтобы было доступно каждому.

— Мы учитываем и это, — заверил его директор.

Они вместе дошли до пустыря за кинотеатром, где уже начали

возводить шапито. Сумрачного вида мужчины и женщины вытаскивали из огромных, обитых узорчатой латунью сундуков какой-то разноцветный хлам, и, когда алькальд, погрузившись вслед за директором в водоворот людей и барахла, начал пожимать всем руки, ему почудилось, будто он на тонущем корабле.

Рослая, крепкая женщина с золотыми коронками чуть ли не на всех зубах задержала руку алькальда в своей и стала внимательно изучать его ладонь.

— В недалеком будущем с тобой произойдет что-то странное.

Алькальд выдернул руку.

— Наверно, сын родится,— ответил он, улыбаясь, не в силах подавить охватившее его на миг неприятное чувство.

Директор легонько ударил женщину стеком по плечу.

— Оставь лейтенанта в покое,— сказал он, не замедляя шага, и подтолкнул алькальда в ту сторону, где стояли клетки со зверями.

— Вы в это верите? — спросил он.

— Когда как,— ответил алькальд.

— А меня так и не убедили,— сказал директор.— Когда покопаться как следует в этих гаданиях, начинаешь понимать, что играет роль только человеческая воля.

Алькальд окинул взглядом сонных от жары животных. Из клеток струились терпкие, горячие испарения, и в мерном дыхании зверей было что-то тоскливо-безнадежное. Директор пощекотал стеком нос леопарда, и тот скорчил жалобную гримасу.

— Как зовут? — спросил алькальд.

— Аристотель.

— Я о женщине,— пояснил алькальд.

— А! Ее мы зовем Кассандра, зеркало будущего.

Лицо у алькальда стало тоскующим.

— Мне хотелось бы переспать с ней,— сказал он.

— Это можно,— отозвался директор цирка.

Вдова Монтель раздернула в спальне занавески и прошептала:

— Бедные люди!

Она навела порядок на ночном столике, убрала в выдвижной ящик четки и молитвенник и вытерла подошвы розовых домашних туфель о расстеленную перед кроватью шкуру ягуара. Потом обошла всю комнату и заперла на ключ туалетный столик, три дверцы застекленного шкафа и квадратный шкаф, на котором стоял гипсовый святой Рафаил. После этого она заперла на ключ дверь комнаты.

Спускаясь по широкой лестнице из каменных плит, покрытых лабиринтами трещин, она думала о странной судьбе Росарио Монтеро. Когда вдова Монтель увидела сквозь решетку балкона, как та,

похожая на скромную, прилежную школьницу, которую приучили не смотреть по сторонам, обогнула угол и скрылась на набережной, ей показалось, будто закончилось нечто, уже давно шедшее к завершению.

Вдова Монтель сошла с последней ступеньки, и ее встретило бурлящее, как деревенская ярмарка, патио. Прямо около лестницы стоял стол, на нем лежали завернутые в свежие листья сыры; чуть подальше, в открытой галерее, громоздились один на другом мешки соли и бурдюки с медом, а в глубине двора виднелась конюшня с мулами и лошадьми, где на балках висели седла и сбруя. Дом был пропитан запахом выючных животных, мешавшимся с запахами дубильни и сахарного завода.

Войдя в контору, вдова поздоровалась с сидевшим за письменным столом сеньором Кармайклом. Тот, сверяясь с бухгалтерской книгой, отсчитывал и складывал пачками деньги. Она открыла выходящее на реку окно, и полную недорогих безделушек комнату, где стояли большие кресла в серых чехлах и висело увеличенное фото Хосе Монтеля с траурным бантом на рамке, залил яркий свет позднего утра. Вдова почувствовала вонь падали и только теперь увидела лодки на отмелях противоположного берега.

— Что они там делают? — спросила она у сеньора Кармайкла.

— Пытаются убрать дохлую корову.

— Так вот что это такое! — сказала вдова. — Этот запах снился мне всю ночь.

Она посмотрела на сеньора Кармайкла, углубившегося в работу, и добавила:

— Теперь нам не хватает только потопа.

— Уже пятнадцать дней как он начался, — не поднимая головы, отозвался сеньор Кармайкл.

— Правда, — согласилась вдова, — приближается конец. Осталось только лечь в могилу и ждать смерти.

Сеньор Кармайкл слушал ее, не прерывая счета.

— Многие годы мы жаловались, что у нас в городке ничего не происходит, — продолжала вдова. — И вдруг разразились несчастья, словно бог пожелал, чтобы разом произошло все, чего не было уже несколько лет.

Сеньор Кармайкл оторвал взгляд от сейфа, повернулся к ней и увидел, что она, облокотившись на подоконник, пристально рассматривает противоположный берег. На ней было черное платье с длинными рукавами, и она грызла ногти.

— Кончится сезон дождей — дела поправятся, — сказал сеньор Кармайкл.

— Он не кончится, — предсказала вдова. — Беда не приходит одна. Вы Росарио Монтеро видели?

Сеньор Кармайкл сказал, что видел.

— Все это ни на чем не основанная клевета,— продолжал он.— Если обращать внимание на то, что пишут в листках, в конце концов можно спятить.

— Ох уж эти листки! — вздохнула вдова.

— Мне тоже наклеили.

Измученная, она подошла к столу.

— Вам?

— Мне,— подтвердил сеньор Кармайкл.— В прошлую субботу наклеили, очень большой и подробный. Было похоже на афишу.

Вдова пододвинула к столу кресло.

— Какая гнусность! — воскликнула она.— Что плохого можно сказать о такой образцовой семье, как ваша?

Сеньор Кармайкл был все так же невозмутим.

— Жена у меня белая, и дети у нас получились разные, всех оттенков,— объяснил он.— Ведь их одиннадцать, представляете себе?

— Еще бы!

— Так в листке было написано, что я отец только черных детей, и приводится список прочих отцов. Среди них назвали и покойного дона Хосе Монтеля.

— Моего мужа!

— Вашего и еще четырех сеньоров.

Вдова разрыдалась.

— Как хорошо, что мои дочери далеко отсюда! — сквозь слезы заговорила она.— Они пишут, что не хотят возвращаться в эту дикую страну, где студентов убивают на улицах, и я отвечаю им, что они правы,— пусть остаются в Париже на всю жизнь.

Поняв, что снова начинается повторяющаяся изо дня в день мучительная сцена, сеньор Кармайкл повернул кресло и сел к вдове лицом.

— Вам тревожиться не о чем,— сказал он.

— Нет, есть о чем,— проговорила сквозь рыдания вдова Монтель.— Мне бы первой следовало взять самое необходимое и уехать из городка, и пусть пропадут эти земли и все эти ежедневные торговые сделки! Не будь их, на нас не обрушились бы наши теперешние несчастья. Нет, сеньор Кармайкл, плевать кровью я могу и не в золотую плевательницу.

Сеньор Кармайкл попытался ее утешить.

— Вы не должны уклоняться от своего долга,— сказал он.— Нельзя просто так вот взять и выбросить за окно целое состояние.

— Деньги — помет дьявола,— сказала вдова.

— В вашем случае они также плод нелегкого труда дона Хосе Монтеля.

Вдова прикусила пальцы.

— Вы прекрасно знаете, что это не так, — возразила она. — Богатство приобретено дурными путями, и первым поплатился за это сам дон Хосе Монтель — ведь он умер без покаяния.

Она говорила это уже не в первый раз.

— Главная вина лежит на нем, преступнике! — вдруг закричала она, показывая на алькальда, который, придерживая за локоть директора цирка, шел по противоположному тротуару. — Но искупить ее должна я!

Сеньор Кармайкл, будто не слыша ее, сложил стянутые резинками пачки денег в картонную коробку, стал в дверях патио и начал вызывать по алфавиту работников.

Вдова Монтель слышала, как мимо нее проходят за еженедельной выдававшейся по средам получкой люди, но не отвечала на их приветствия. Она жила одна в девяти комнатах темного дома, где умерла Великая Мама; Хосе Монтель купил этот дом, не предполагая, что его собственная вдова будет одиноко дожидаться в нем смерти. По ночам, обходя с баллоном инсектицида пустые комнаты, она встречала Великую Маму, давившую в коридорах вшей, и спрашивала ее: «Когда я умру?»

В начале двенадцатого вдова увидела сквозь слезы, как площадь пересекает падре Анхель.

— Падре, падре! — позвала она, и ей показалось, будто, зовя его, она зовет свою смерть.

Однако падре Анхель ее не слышал. Он уже стучался в дом вдовы Асис, стоявший напротив, и дверь чуть приоткрылась, чтобы впустить его.

В галерее, наполненной птичьим пением, лежала в шезлонге вдова Асис. Лицо ее покрывал платок, смоченный флоридской водой. По стуку она поняла, что это падре Анхель, однако продолжала наслаждаться коротким отдыхом, пока не услышала, как с ней здороваются. Она открыла свое лицо, на котором были видны следы бессонницы.

— Простите, падре, — сказала вдова Асис, — я не ждала вас так рано.

Падре Анхель не знал, что приглашен на обед. Немного растерянный, он извинился и сказал, что у него тоже с утра болит голова и он решил перейти площадь до жары.

— Не беда, — успокоила его вдова. — Я сказала это только потому, что очень плохо себя чувствую.

Падре вытащил из кармана истрепанный трепник.

— Если хотите, можете отдохнуть еще немного, а я помолюсь, — сказал он.

Вдова запротестовала.

— Мне уже лучше, — сказала она.

Не открывая глаз, она пошла в конец коридора и, вернувшись, очень аккуратно повесила платок на подлокотник шезлонга. Когда она села перед падре Анхелем, ему показалось, будто она помолодела на несколько лет.

— Падре,— ровным голосом сказала вдова,— мне нужна ваша помощь.

Падре Анхель сунул требник в карман.

— Я к вашим услугам.

— Речь снова идет о моем сыне, Роберте Асисе.

Роберто Асис, уехавший накануне и предупредивший, что вернется в субботу, неожиданно возвратился вчера вечером и, нарушив обещание забыть о листке, до рассвета просидел в темноте комнаты, поджидая предполагаемого любовника своей жены.

Падре Анхель ошеломленно ее выслушал.

— Для этого не было никаких оснований,— сказал он.

— Вы не знаете Асисов, падре,— ответила вдова.— Их воображение — настоящая преисподняя.

— Ребека знает, что я думаю о листках,— сказал он,— но, если хотите, я могу поговорить и с Роберто Асисом.

— Ни в коем случае,— сказала вдова.— Это только подольет масла в огонь. Вот если бы вы вспомнили о листках в воскресной проповеди — это, я уверена, заставило бы Роберто задуматься.

Падре Анхель развел руками.

— Невозможно! — воскликнул он.— Это придало бы событиям важность, которой у них нет.

— Нет ничего важнее, чем предупредить преступление.

— Вы думаете, может дойти и до этого?

— Я не только думаю — я уверена, что не смогу предотвратить его.

Они сели за стол. Босая служанка принесла рис с фасолью, тушеные овощи и блюдо фрикаделек в густом коричневом соусе. Падре молча положил себе. Жгучий перец, глубокое молчание дома и растерянность, переполнявшая в этот миг его сердце, вновь перенесли падре в голую комнатку начинающего священника в знойном полудне Макондо. Именно в такой день, пыльный и душный, он отказался отпевать самоубийцу, которого жестокосердные жители Макондо не хотели предать земле.

Он расстегнул воротник сутаны.

— Хорошо,— сказал он вдове.— Постарайтесь тогда, чтобы Роберто Асис не пропустил воскресной мессы.

Вдова Асис пообещала ему это.

Доктор Хиральдо с женой, никогда не спавшие после обеда, провели время сиесты за чтением рассказа Диккенса. Они были на внутренней террасе, которую отгораживала от патио решетка,— он лежал в гамаке и слушал, заложив руки за голову, а она, с книгой на коленях, сидела в кресле, и за спиной у нее в ромбах света пламенела

герань. Читала она бегло и бесстрастно, не меняя при этом позы, и подняла голову только когда закончила. Она так и осталась сидеть с раскрытой книгой на коленях, в то время как ее муж умывался под краном. Духота предвещала непогоду.

— Длинный рассказ? — спросила она после молчаливого раздумья.

Точным движением, усвоенным в операционной, доктор поднял голову из-под крана.

— Называется коротким романом, — ответил он, глядясь в зеркало и намазывая волосы бриллиантином, — но я бы его назвал длинным рассказом.

И, продолжая мазать волосы, закончил:

— А критики, наверно, назвали бы коротким рассказом, только слишком растянутым.

Жена помогла ему одеться в белый полотняный костюм. Ее можно было принять за старшую сестру — по спокойной преданности, с которой она ему прислуживала, но также и из-за старивших ее холодных глаз. Перед тем как выйти, доктор Хиральдо показал ей список визитов — на случай, если кому-нибудь потребуется неотложная помощь — и передвинул стрелки на часах-объявлении в комнате перед приемной: «Доктор вернется в пять».

На улице звенело от зноя, и доктор Хиральдо пошел по теневой стороне. Его не покидало предчувствие, что, несмотря на духоту, дождя к вечеру не будет. Стрелка цикад еще сильнее подчеркивал безлюдность набережной, но корову, снятую с мели, унесло течением, и исчезнувшая вонь оставила огромную пустоту.

Из гостиницы его окликнул телеграфист:

— Получили телеграмму?

Нет, доктор Хиральдо не получал ее.

— «Сообщите условия поставки», подпись — «Аркофан», — повторил по памяти телеграфист.

Они пошли вместе на почту. Пока врач писал ответ, телеграфист задремал.

— Это соляная кислота, — без особой убежденности объяснил врач.

И наперекор предчувствию, будто в утешение, добавил, когда кончил писать:

— Может, вечером все-таки пойдет дождь.

Телеграфист начал подсчитывать слова. Доктор забыл о нем — его внимание приковала к себе открытая толстая книга рядом с телеграфным ключом. Он спросил, не роман ли это.

— «Отверженные», Виктор Гюго, — стуча ключом, отозвался телеграфист и, проштепелевав копию телеграммы, взял книгу и подошел с ней к барьеру. — Думаю, до декабря нам этого хватит.

Уже несколько лет доктор Хиральдо знал, что телеграфист в свободное время передает по аппарату стихи телеграфистке в Сан-Бернардо-дель-Вьенто. Но доктор не знал, что он выстукивает ей и романы.

— Это слишком серьезное,— сказал врач, листая захватанный том, будивший в нем смутные переживания отрочества.— Больше бы подошел Александр Дюма.

— Ей нравится это,— ответил телеграфист.

— А ты уже с ней знаком?

Телеграфист отрицательно покачал головой.

— Это не имеет значения: я узнал бы ее в любой части света по подпрыгивающему «эр».

Как всегда, доктор Хиральдо выкроил час для дона Сабаса. Придя к нему, он увидел, что тот, прикрытый ниже пояса полотенцем, лежит в изнеможении на кровати.

— Ну как карамельки? — спросил доктор.

— Жарко очень,— пожаловался дон Сабас и, чтобы удобнее было смотреть на врача, перевернул на бок свое огромное тело старой женщины.— Укол я себе сделал после обеда.

Доктор Хиральдо открыл чемоданчик на специально приготовленном столике у окна. Из патио доносился стрекот цикад, в комнате было как в теплице. Слабой струйкой дон Сабас помочился в утку. Когда доктор набрал янтарной жидкости в пробирку для анализа, на душе у больного стало легче. Наблюдая, как врач делает анализ, он сказал:

— Вы уж постарайтесь, доктор, не хочется умереть, не узнав, чем кончится эта история.

Доктор Хиральдо бросил в пробирку голубую таблетку.

— Какая история?

— Да с этими листками.

Пока доктор нагревал пробирку на спиртовке, дон Сабас не отрывал от него заискивающего взгляда. Доктор понюхал. Бесцветные глаза больного смотрели на него вопросительно.

— Анализ хороший,— сказал врач, выливая содержимое пробирки в утку, а потом испытующе посмотрел на дону Сабаса.— Вас они тоже волнуют?

— Меня лично нет,— ответил больной,— но я как японец: мне доставляет удовольствие чужой страх.

Доктор Хиральдо готовил шприц.

— К тому же,— продолжал дон Сабас,— мне уже наклеили два дня назад. Все та же чушь насчет моих сыновей и рассказы про ослов.

— Угу,— сказал врач, перетягивая резиновой трубкой руку дону Сабаса.

Больному пришлось рассказать историю про ослов, потому что врач ее не помнил.

— Лет двадцать назад я торговал ослами,— сказал он.— И почему-то всех проданных мною ослов через два дня находили утром мертвыми, хотя никаких следов насилия видно не было.

Он протянул врачу руку с дряблыми мышцами, чтобы тот взял на анализ кровь. Когда доктор Хиральдо прижал к уколотому месту ватку, дон Сабас согнул руку в локте.

— Так знаете, что выдумали люди?

Врач покачал головой.

— Распустили слух, будто я пробирался по ночам в стойла, вставляя револьверное дуло ослу под хвост и стрелял.

Доктор Хиральдо убрал пробирку с кровью для анализа в карман куртки.

— Звучит правдоподобно,— заметил он.

— На самом деле это все змеи,— сказал дон Сабас, сидя на кровати в позе восточного божка.— Но вообще-то каким надо быть дураком, чтобы написать в листке о том, что и так знают все.

— Такова особенность этих листков,— сказал врач.— В них говорится о том, что знают все, и почти всегда это правда.

На миг слова врача повергли дона Сабаса в состояние шока.

— Что верно, то верно,— пробормотал он, стирая простыней пот с опухших век. Однако самообладание тут же вернулось к нему.— Если уж говорить начистоту, то во всей стране нет ни одного состояния, за которым бы не скрывался дохлый осел.

Слова эти врач услышал, когда, наклонившись над тазом, мыл руки. Он увидел в воде свою улыбку — зубы столь безупречные, что казались искусственными. Поглядев через плечо на пациента, доктор сказал:

— Я всегда считал, мой дорогой дон Сабас, что ваше единственное достоинство — бесстыдство.

Больной воодушевился. Удары, наносимые врачом по его самолюбию, как ни странно, действовали на него омолаживающе.

— Оно, и еще моя мужская сила,— сказал он и согнул руку, возможно, с целью стимулировать кровообращение, хотя доктору это показалось жестом, переходящим границы пристойности. Дон Сабас слегка подпрыгнул на ягодицах.

— Вот почему я помираю над этими листками со смеху,— продолжал он.— В них пишут, что мои сыновья не пропускают ни одной девчонки, которая расцветает в наших краях, а я говорю на это: они сыновья своего отца.

До ухода доктору Хиральдо пришлось выслушать историю любовных пождений больного.

— Эх, молодость! — воскликнул под конец дон Сабас.— Счастли-

вые времена — тогда девчонка шестнадцати лет стоила дешевле телки!

— Эти воспоминания повысят концентрацию сахара,— сказал врач.

Рот больного широко открылся.

— Наоборот,— возразил он,— они помогают мне больше, чем ваши проклятые уколы.

Врач вышел на улицу с впечатлением, будто по жилам дона Сабаса циркулирует теперь крепкий бульон. Потом мысли его вернулись к листкам. Уже несколько дней подряд слухи о них доходили до его приемной. Сегодня, после визита к дону Сабасу, он вдруг осознал, что в последнюю неделю не слышал никаких других разговоров.

В течение следующего часа он побывал еще у нескольких больных, и все они говорили о листках. Он выслушивал это без комментариев, симулируя насмешливое безразличие, но на самом деле пытался как-то разобраться. Он уже подходил к своему дому, когда размышления его были прерваны падре Анхелем, выходящим из дома вдовы Монтель.

— Как больные, доктор? — спросил его падре Анхель.

— Мои выздоравливают,— ответил врач.— А как ваши, падре?

Закусив губу, падре Анхель взял врача за локоть, и они пошли вместе через площадь.

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Не знаю,— ответил доктор.— Я слышал, что среди ваших больных началась серьезная эпидемия.

Падре Анхель отвернулся — как показалось врачу, намеренно.

— Я только что говорил с вдовой Монтель,— сказал он.— У бедной женщины сдали нервы.

— Или совесть,— предположил врач.

— Ее преследуют навязчивые мысли о смерти.

Хотя дома их были в противоположных концах городка, падре Анхель проводил доктора до самой приемной.

— Seriously, падре,— снова заговорил врач,— что вы думаете об этих листках?

— А я о них не думаю,— сказал падре.— Но если вам обязательно надо знать мое мнение, то я бы сказал, что они плод зависти к образцовому городку.

— Таких диагнозов мы, врачи, не ставили даже в средневековье,— отозвался доктор Хиральдо.

Они стояли перед его домом. Медленно обмахиваясь веером, падре Анхель уже второй раз за этот день сказал, что не следует придавать событиям важность, которой у них нет. Доктора Хиральдо охватило глупое отчаяние.

— Откуда у вас такая уверенность, падре, что все написанное в листках — ложь?

— Я бы знал из исповедей.

Доктор холодно посмотрел ему в глаза.

— Значит, все гораздо серьезней, если даже вы ничего не знаете.

К вечеру падре Анхель обнаружил, что в домах бедняков тоже говорят о листках, но по-другому, чаще всего просто посмеиваясь. После вечерней службы, мучимый неотступной головной болью (он приписал ее съеденным в обед фрикаделькам), падре без аппетита поужинал, а потом отыскал моральную оценку очередного фильма и впервые в жизни, отбивая двенадцать звучных ударов, означавших полный запрет, испытал темное чувство злорадного торжества. Потом, чувствуя, что голова у него лопается от боли, он поставил за дверь, на улице, табуретку и открыто сел наблюдать, кто, не считаясь с предупреждением, войдет в кинотеатр.

(Окончание в Библиотеке «Огонек» № 18)

Габриэль ГАРСИА МАРКЕС

НЕДОБРЫЙ ЧАС

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 05.02.85. Подписано к печати 27.03.85. Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,21. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 85 000 экз. Изд. № 861. Зак. № 206. Цена 40 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Те, кто постоянно дружит с физкультурой, занимается в группах здоровья и общей физической подготовки на спортивных сооружениях, построенных с помощью доходов лотереи «Спортлото», не нуждаются в лекарствах и бюллетенях.

● Таких спортивных сооружений — стадионов, дворцов спорта, спортзалов, бассейнов — построено уже более 200 в больших и малых городах нашей страны. Сотни миллионов рублей выделены из средств лотереи «Спортлото» на развитие физкультуры и спорта.

● Тиражи лотереи «Спортлото» проводятся каждую неделю. Разыгрываются денежные суммы от трех до 10 000 рублей. Билет лотереи участвует в тираже двумя вариантами номеров. Он считается выигрышным, если с результатами тиража совпадут не менее трех номеров в одном из вариантов.

● Возможность систематически заниматься физкультурой и спортом, укреплять свое здоровье — таков главный выигрыш всех участников этой популярной лотереи.

● Желаем вам, дорогие друзья, удач в игре, успехов в физкультуре и спорте.

**Главное управление спортивных лотерей
Спорткомитета СССР**